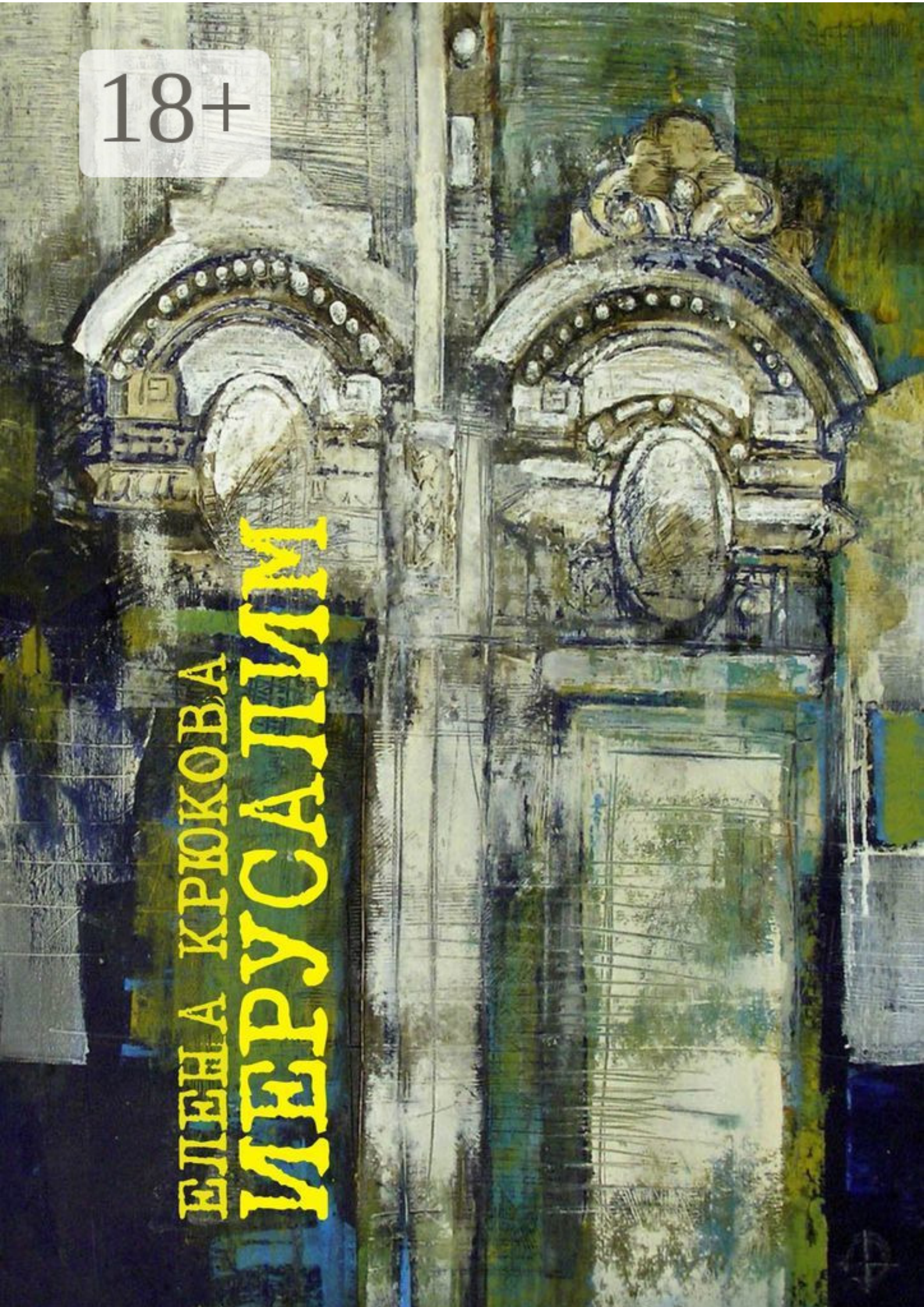


18+

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ИЕРУСАЛИМ



Елена Крюкова

Иерусалим

«Издательские решения»

Крюкова Е.

Иерусалим / Е. Крюкова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-508012-7

Сибирячка Вера Сургут отправляется паломницей на Святую Землю. Что приключится с ней в долгом пути? Перед ней Иерусалим, город, где она узнает и великое человеческое страдание, и величайшее счастье подлинной веры...

ISBN 978-5-00-508012-7

© Крюкова Е.
© Издательские решения

Содержание

ИЕРУСАЛИМ	6
ХОЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ. ПАЛОМНИЦА	8
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Иерусалим

Елена Крюкова

Дизайнер обложки Владимир Фуфачев

© Елена Крюкова, 2020

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2020

ISBN 978-5-0050-8012-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ИЕРУСАЛИМ

*ХОЖДЕНИЕ ПО ГОРЮ И РАДОСТИ
СВЯТОЙ ВЪРЫ,
МОНАХИНИ
ГОРНЕНСКАГО ЖЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ
НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЪ ВЪ ИЕРУСАЛИМЪ,
А ТАКЖЕ
ПРАВДИВОЕ И ДОСТОЙНОЕ СКАЗАНИЕ ЧУДЕСЪ,
ЧТО СЪ ТОЮ СВЯТОЙ ВЪРОЙ
ВЪ МИРЪ СРЕДЬ ЛЮДЕЙ ПРИКЛЮЧИЛИСЯ*

Крест мой – черный крест.
Украсть его зимою, как елку.
Воткни в сугроб. Я погляжу окрест.
Тьма непроглядная – руки мои осязуют
праздник земной,
и стоять недолго
Черной елкой, в крестовине боли,
светлейшею из невест.

Крест мой – он только мой. Я его не покину.
Мрак живых ладоней безлюден,
беспрогляден и наг.
Вознесу молитву праотцам, Отцу и Сыну,
А Дух Свят – алмазным снегом: у врат полночных
на коленях, бедняк.

Ночь ног, пыль миров, волосы мои инеем схватит.
Голая, после прожитой жизни, вишу на кресте
И едва дышу, и уже не дышу,
и до Воскресения хватит
Меня одной – голодному миру —
куска огненной жизни
в седой пустоте.

Я чернею великой скорбью. Я вижу время.
Крепко жмурюсь: а вот это видеть нельзя.
Голой елкою, без бус и гирлянд,
без медовых свечей,
я стою, лечу надо всеми,
Над пророчествами всеми своими
по дегтярному небу
слезным алмазом скользя.

Я всего лишь человечича, не ангелица,
Я всего лишь паломница в степь,
где планет плачет волчий полынный вой,

Где мой Бог сможет, распятый, уксусом,
как дамасским вином, упиться —
Всем избитым, в крови, бессмертием
наклонясь надо мною, живой.

ХОЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ. ПАЛОМНИЦА

Глубокой и беспроглядной ночью, когда за изломом улицы, за ее крутым, почти под прямым углом, бешеным поворотом дымливо и сутемно курился январский Енисей, Вера Емельяновна Сургут собралась в Иерусалим.

Квадрат окна слишком жестко, безвыходно очерчивал ее мир – в лицо его, то бело-серебряное, то золото-осеннее, то мрачное, чернее угля, то слишком синее, синее купороса, она, изнутри нищего жилища, глядела то и дело. Вера Емельяновна жила одна, и это было хуже всего. Ночью она часто боялась умереть: просыпалась и прислушивалась к себе, к гулкому и частому биению сердца. Врач из районной поликлиники, с виду схожей со старинной дощатой ладьей – Вера видела такую лодку в музее, еще ребенком, – вздыхал глубоко: «Тахикардия у вас, голубушка, несчастненькое у вас сердечко! Трепыхается! Чем бы его этаким вкусным подкормить, сердечко ваше голодное, ума не приложу? Давно ли у вас это трепыхание началось? А?» Вера не знала, что врачу отвечать: она не могла так глубоко нырнуть во время, чтобы обнаружить там исток недуга.

Долго сидела за столом, сторбившись, добрых полночи. Время вилоь над головой, потом стало валиться вбок, истаивать, вспыхивать и гаснуть, теряться. Давно отгремел бодряцкий гимн по радио – приемник она никогда не выключала, черный ящик старательно и отчетливо играл парадную музыку в полночь и в шесть утра, – утих детский визг наверху, угас лай дальних собак, только сосед за стеной глухо и влажно покашливал – вечная простуда, а может, вечный табак, а может, вечная чахотка. Потеряв время совсем, она вздрогнула: явилась боль пропажи. С трудом встала. Протянула руки к окну. Руки Верины сами вцепились в погрязнелые, с золотой вышивкой, занавеси, знамена старых времен, хотели запахнуть поплотнее, чтобы не видеть света фонарей, их горячей тоски, – а вместо этого вдруг рванули ткань в разные стороны.

Угрюмый город. Беззвездная ночь. Дома шли вверх, все вверх и вверх, пытаясь каменными головами уткнуться в небо, – да все равно ростом не вышли, небо было шире, выше и дальше любого людского камня. Стрельчатые, треугольные, в виде столбов, с крышами острыми и плоскими, слепые, скорбные, а вот горят два окна, а вот мгновенно, резко вспыхивает непрерывная цепь огней, опоясывая узкую высотку. Домов много. Убежища из железа и бетона, из огнеупорных кирпичей, и внутри них живет, спасается человек. Он спасается от смерти.

Вера, стоя у окна с распахнутыми руками, вдруг догадалась об этом.

И ее резко, быстро, быстрее вспышки снега под большим фонарным огнем, накрыла черный крест: все конечно. Конечно всё. И все. Бесследно проходит всё. И исчезает. Это как вода. Вон он, Енисей, – дымится, полоумный зимний вулкан, парит за чередой домов, что каменными коровами идут к нему на водопой. Люди сначала живут, потом умрут. Как это перенести?

Мысли простые, обычные. Нелепые, она еще не старая, кто-то над нею и посмеется, зайдется от смеха, если она расскажет об этом. Жалко самоё себя стало? Ах ты, кошечка, за ухом чтобы почесали, захотелось?

Отступила от окна на шаг, другой. Взора не отводила от мрачного полотна в квадрате старой оконной рамы. Белого в сибирской ночи было больше, чем черного. Вера глядела, глядела, жадно, внимательно, зрачками вспарывала белые силки, что некрепко сшивали крыши и изгибистый чугун фонарей, тяжелые сугробы и мохнатые от густого куржака провода и карнизы. В такие лютые ночи погибают зимние птицы, комьями валясь с могучих разлапистых елей, со сверкающих пухом инея длинноглых сосен. Вера вообразила себя такою птицей. И чуть было не упала перед окном, и выпустила из скрюченных пальцев шторы и судорожно ухватилась за подоконник. Он холодом, как давно мертвый материн утюг, ожег ей ладони. Под фонарями взвивалась метель, и Вера чувствовала – через полчаса эта робкая вялица перейдет в мощную пургу, и пурга эта пожрет и дом, и город, и ее у страшного, в диких морозных

узорах, окна, и Енисей, что там, за поворотом, гудит, ворчит и дымится. Адский зимний дым Енисея, с детства знакомый. Ребенком она пугалась, когда мать, больно вцепившись в ее детскую лапку, вытаскивала ее из-за поворота – после бани обе, женщина и девочка, шли, укутанные в шали, мать в большую, козью и дырявую старую шаль, дочушка в маленькую, кроличью, беленькую и новехонькую, – и Енисей разверзлся под ногами урчащей иззелена-серебряной пропастью, и далеко в ранней ночи маячила, вмерзала в заберег черная пристань, и к ней жался, в ее бок вжимался остроклювый грязный, с ярким белым номером на боку, катерок, железный цыпленок. Вера так же хотела вжаться в бок матери, укутанной в шаль и старую овечью шубу, прислонилась к ней, запнулась валенком за трубу поперек дороги и растянулась. Мать завопила благим матом: «А-а-а-а, ты нарошно, нарошно! опять за свои штучки! дрянь такая! вся в отца! вся! вся!» Отец Верин, она знала, ей соседка, безрукая Зита, нашептала, сидел в заключении далеко отсюда, на Севере, в загадочном городе Туруханске. Вера насмелилась и спросила однажды у матери, где это Туруханск. Она думала, мать на нее, по обыкновению, заполошно заорет, а мать тяжело, прерывисто вздохнула и выдавила, как едучую мазь из аптечного тюбика: «Это, дочка, в аду». – «А что такое ад?» – спросила Вера. Тут мать озлилась и прошипела: «Не твоего ума это дело».

В другой раз ей удалось выведать у матери, что ее отец жив, только живет в специальном месте, для преступников, кто захотел сделать плохо их любимой родной стране. «А оттуда убежать можно?» – робко шепнула Вера. Мать сидела на продавленном диване и шила. Пришивала цигейковый воротник к Вериной шубке. «Нет, дочь, там люди сидят в бараках, за решеткой, и по забору обкручена проволока колючая; кормят их баландой, будто бы свиньи они, и мрут все там, мрут как мухи. Может, и батька твой уж сдох давно. Или в затылок ему стрельнули». Мать шмыгнула и утерла нос ладонью. Уколола палец иголкой и выматерилась. Высосала из пальца кровь. Сплюнула на пол. Вера растерла подошвой на паркетине плевок. «Брось ты меня слушать. Бормочу я всякое. Вот отмотает срок и явится. И опять за старое: пить, гулять. Э-э-э-э-эх!» – «Мама, а что такое виноград?» – без перехода спросила Вера. Мать скусила нитку, долго отгрызала. Опять плюнула. «Ягода». – «А ее едят?» – «Едят». – «А ее продают?» – «Продают». – «Мам, купи мне!» Мать разгладила серую мышиную цигейку жесткой ладонью и громко выдохнула: «О Господи!»

«Кто такой Огосподи?» – тихо спросила Вера. И мать дала ей подзатыльник. Несильно, так, будто кошка смазала лапой, – чтобы отстала.

Отец так и не вернулся никогда.

Мать Верина жила долго и умерла в старости, вся сморщенная, бессильная, ходить уже не могла, от кровоизлияния в маленький усохший мозг – ее разбил паралич, скрутил ее в два дня, Вера и ахнуть не успела. Она не знала, как ухаживать за такими больными, и все клала матери на лоб мокрую тряпку, а потом в дверь ввалились соседки и наперебой стали таракать: «Разрабатывай ей руку, руку, руку в локте сгибай! ложку в пальцы засовывай, чтобы держала! выпустит, а ты опять засунь! упражняться надо, мышцы упражнять!» Ложка валилась на пол. Тарелка с супом падала, задетая локтем, разбивалась, суп разливался по тусклому паркету. Вера не помнила, сколько лет они с матерью жили в этом доме: всю жизнь. Она глядела на высохшее тощей рыбкой-чебаком тельце матери в гробу, обитом атласом цвета неба, и думала: «Вот и я так тоже когда-нибудь лягу, и буду лежать, и молчать». Одна соседка надела ее матери на шею крестик на грубом гайтане, другая всунула в сложенные руки образок величиной с дикое яблоко. До Троицкого кладбища доехали на автобусе – Вера тогда работала кондукторшей, и начальство автобусного парка милостиво выделило ей на похороны матери бесплатный автобус. Вера, пока на кладбище ехали, обводила мрачными глазами людей в автобусе: половину из них она не знала, и уже не узнает никогда; кто они все были? Случайные прохожие? Голодные, возжаждавшие поминок со вкусной, с изюмом, кутьей? Матери старые друзья? Не было ни поминок в дешевой столовой, ни кутьи, ни водки. Не водилось таких денег

у Веры. Сладкий кагор принесла соседка, что на груди покойницы умостила образок святителя Николая Чудотворца, а целую сумку булок – незнакомец, всклокоченный, как композитор Бетховен со старинной гравюры в Вериной детской книжке без начала и конца. Когда священник, молодой сивый парень, длинные волосы в косичку заплетены, в холодом храме отпевал усопшую рабу Божию, он осторожно вынул из ее синих скрюченных пальцев Николу Угодника. «Не положено с иконой святой в землю класть», – сурово сказал он и протянул святителя Николая молча, прямо стоявшей Вере. Вера слушала, как нараспев, печально говорит, а потом густым басом поет батюшка. Она не понимала тягучих древних, заковыристых слов. В школе их никто не учил, что есть на свете Бог; на свете был красный галстук, потом комсомольский значок, потом все оканчивали школу и забывали эти крики: «Будь готов!» – «Всегда готов!» – и салют под алым знаменем, что вилоьсь на холодном ветру на школьном дворе, на высоком, как мачта, флагштоке. Прямо на кладбище, как засыпали Верину мать землей, соседки раздавали из сумки булки, все отхлебывали из бутылки кагор, из темного стеклянного горла, и передавали другому. Прожевывали булку, пропитанную вином, и крестились. Вера не первый раз в жизни видела, как люди крестятся; и понимала, что вот теперь-то, когда мать родную хоронит, здесь, на Троицком кладбище славного города Красноярска, она должна послушно слепить пальцы в щепоть и наконец-то в жизни перекреститься; но стыдно ей было, и медлила она. Будто кто-то ее наотмашь должен был плетью хлестнуть по лицу – за то, что она здесь, на ярком солнечном, резучем снегу, возьмет да широко, вольно на себя крест наложит. Зимний яркий, слишком синий, люто морозный день! Зима, все время зима. И мать умерла зимой. Вера глядела, как голодные люди торопливо жуют булки, как румянятся на морозе их щеки, как ходит, мечется из рук в руки темная, будто обожженный снаряд, бутылка, и вдруг ей почудилось, что не на кладбище стоит она, а на рынке, и все тут продают, что надо – и вино, и зимние плоды, золотые слепящие мандарины, и подгорелые пирожки, и кудлатые ананасы, и коричневый, в крынках и стеклянных банках, саянский мед, и аккуратно рубленое острым топором, дымящееся мясо – грудинку, корейку, оковалки, – и мертвых кур, и мертвых рыб, и вяленые окорока мертвых медведей, и мертвых глухарей, и мертвую строганину, и всю мертвечину, что люди едят, едят, бесконечно грызут, перемальвают зубами-жвалами. Ей стало худо, перед глазами возникла тьма, и она, подогнув ноги, упала перед свежим холмом. Люди, черные свечки на снегу, в темных серых пальто и черных катанках, сгрудились ближе к ней, пытались поднять на ноги, закричали, загомонили. Могильщики заваливали земляной холм разрытым снегом, хлопывали грязными лопатами. Вере, что клонила в бессознании голову на плечо, тыкали в зубы горлом бутылки. Она бессмысленно глотнула вина и ожила.

Ее уводили с кладбища под руки. Снег визжал под сапогами. Вера оглянулась и поймала глазами черный чугунный крест. Под чугуном лежала ее мать.

Потом, в жизни, она работала еще на всяких-разных работах: сторожихой, кастеляншей в рабочем общежитии, укладчицей на кондитерской фабрике. Кондуктором мотаться по тоскливому асфальту ей до смерти надоело, к тому же у нее на глазах в автобусе зарезали молодую девчонку, Вера заступилась, а убийца взял да на Веру ножом замахнулся. Дело было в последнем рейсе, в салоне никого, девка лежит на полу, истекает кровью, а Вера хватается за бешеный, увертливый светлый нож. Да, светло, ярко лезвие сверкало. Будто огнем горело. Ладони у Веры оказались все крест-накрест порезанные, а она уж и не помнит, как визжала, как шофер автобус останавливал и в салон, грязно ругаясь, вбегал. Шофер сильный и смелый мужик оказался; парню тому руки скрутил. Парень пытался его укусить. Шофер вбил ему кулак в скулу. Вера сидела, уронив изрезанные руки на колени, и у нее по коленям и ногам текла ее теплая кровь.

Она отлежалась. Порезы зажили. Но что-то важное, теплое тот парень у нее внутри надрезал – никогда не думала Вера о том, что такое душа, сердце, и вдруг стала думать о них и их чувствовать. Сердце стало биться, быстро и неровно, задыхаясь, куда-то отчаянно опаздывая, а душа стала болеть, томиться и плакать, и Вера теперь понимала, как это, когда из глаз

слезы не текут, а внутри все слезами просто обливается. Иногда эти слезы души прорывались наружу. Это могло случиться где угодно: в трамвае, на улице, на берегу Енисея, в пельменной, где она, промерзнув на остановке и не дождавшись железной повозки, жадно ела разваристые пельмени, обильно посыпанные молотым перцем, – и люди смотрели, как слезы щедро текут по ее лицу и стекают по шее за шарф, за теплый воротник. И Вера сидит, положив ложку на стол, и слез не вытирает.

Пыталась научиться вышивать: рукоделье, заделье, да как все бабы! Ниток накупила, игло-лок. На подушке-думке вышила красную шелковую дорожку. Не понравилась дорожка. Вера вышила еще красную плашку, поперек. Получился красный крест. Не понравился он Вере. Что за больница! «Скорая помощь», – ядовито шептала себе. Спорола шелк и снова вышила крест, другой: густо-черными, угольными нитками.

Чугунный черный крест. Как на могиле матери. В снегах. На белой наволочке.

Забросила думку в угол дивана.

Когда на диване придремывала, переворачивала думку крестом вниз. Он углем из неостывшей печи жег ей щеку.

Крест, даже спрятанный, казался ей громадной буквой, грозной буквицей: она нарисовала ее, а языка не знала, с которого слово на эту букву начинается.

У нее была любовь, но свадьбой не закончилась. Человек, что ходил к ней украдкой, забегал на час, на два, был женат и тяжело болен: носил в себе насквозь больные почки. Вере он сказал об этом не сразу. А тогда, когда она уже крепко прикипела душой и телом к нему. Она не просила его бросить ради нее семью – жену и сына; не упрашивала лечиться и выздоравливать. Она хорошо знала: от судьбы не выздоравливают, и надо тихо принять то, что тебе написано на роду. Хоронить любимого человека она не пошла: ей чудилось, она у могилы опять упадет и потеряет разум, но больше не очнется. А ей еще хотелось жить.

Годы шли, она жалела, что не родила от этого мужчины ребенка; а иногда воображала рядом с собою то мальчика, то веселую девочку, но смутно таяли в слезном тумане детские фигурки, ускользало из ухватливых, уже слабеющих рук детское сонное тельце. Дети! Не каждому дано испытать это счастье. Настал день, когда Вера, стыдясь и пригибаясь, будто кто ее тут увидит и уличит в неведомом преступлении, пробралась в Свято-Троицкий собор и, оглядываясь по сторонам, как рысь из-за колких еловых ветвей, купила икону и две толстых свечи. Икону она выбрала сама: прямо на нее смотрели огромные, широко распахнутые темные глаза, в их глубине ходил светлый огонь и вспыхивали яркие золотые искры. Глаза летели прямо в нее с крупно, во всю икону, изображенного мужского лица. «Спас Нерукотворный, Господь наш», – благоговейно сказала продавщица иконок и свеч и быстро, троекратно осенила, как осолодила, себя крестным знаменем. Вера отсчитала деньги, ее щеки заливала стыдная краска. Ничего не могла она с собой поделывать: в церкви жгуче-стыдно ей было. Она засунула сверток в сумочку, пришла домой, повесила Спаса над телевизором, а свечи воткнула в старый подсвечник, подаренный ей на день рождения ее мертвым возлюбленным. Зажгла. Свечи горели, чуть потрескивая. Вера сказала вслух: «Господи, пошли мне счастье». Одиноким голосом ее прозвучал холодно и глухо под голым потолком нищей комнаты. Старый буфет, старый стол, старые стулья отзвучивали гулкой насмешкой. Свечной огонь отсвечивал в стеклах буфета, отражался в старом зеркале. «Я старая, я уже больше никогда не полюблю и не рожу», – подумала Вера о себе, и очень больно ей стало. Но слезы не лились. Их уже у нее в запасе не было.

Она все стояла посреди ночи и глядела в окно.

Год назад, такой же лютой зимой, морозы под минус пятьдесят, все вокруг синее от мощного куржака, мертвыми узорами иней оплетал все, из чего состоял видимый мир, захворала

ее соседка: та, что на похороны ее матери принесла бутылку темно-красного сладкого кагора. Соседку звали Анна Власьевна, в далеком прошлом она сначала командовала на войне отрядом, потом стала учить детей, потом, выйдя на пенсию, задумчиво плела кружева на коклюшках. Родом Анна Власьевна была из Вологды, и, гордясь, светло и беззубо улыбаясь, говорила она Вере, что происходит из семьи, где женщины от века занимались кружевом. Кружевница, это ж надо, вертела Вера головой, мяла в пальцах, разглядывала снежные, волшебные струи, нитяную вьюгу, что заметала крохотную уютную комнатенку Анны Власьевны, спинки кресел, диваны и стены. Анна Власьевна вбивала гвозди в стену и вешала на гвозди кружевной звездчатый туман; заходила Вера, ахала, охала, обе женщины разглядывали и разглаживали сияние вечной зимы, что уже молча, строго ждала их за поворотом.

Анна Власьевна поручала Вере куда-нибудь определять ее изделия: все равно, куда, в магазин или на рынок отнести, сделать выставку в школе, вернисаж в галерее, лишь бы жило кружево, лица людей красивой метелью мело! Все грязь, всю нечисть из них вычищало! Вера морщила лоб, соображала. Но ничего не могла сообразить, кроме того, чтобы собрать царскую легкую белизну в котомку да оттащить на рынок: глядишь, купят, и у старухи к пенсии денежка будет! Продавала кружева за копейки. Стояла за рыночным лотком среди публики, место было куплено, от себя деньги оторвала, народ подходил и мял в пальцах тонкотканые чудеса, а она смотрела и сглатывала слюну: нечего было говорить. Опять стыдилась: стыдно было торговать, совать в руки вещь и получать за нее бумажки. Однако старуха Анна Власьевна сильно радовалась этой продаже и горячо благодарила Веру: «Ах, Верушка, спасибо-то какое тебе, вот и живенько мое кружево, вот и славненько!» Вера на вырученные за кружево деньги покупала Анне Власьевне пищу и лекарства.

Анна Власьевна слегла, когда уже не могла сидеть за коклюшками. Пришла Вера однажды, а дверь открыта, а старуха на диване лежит, и даже без простынки под собою; круглое лицо уже легко улетает, а седые пряди тяжелеют; только успела на себя, пока еще рука действовала, вытертое верблюжье одеяло натянуть. С трудом разлепила губы, натужно, беззубо вытолкнула в мир бедные слова: «Верушка, меня... удар хватил... Может, и не встану... Ты... поухаживай за мной... чуть-чутьочку, солнышко, я постараюсь... не залежаться...» С коклюшек свисало последнее старухино кружево: будто полночные снежинки, ясные, алмазные, друг с другом сцепившись, радостно заструились на сиротскую, горькую землю со смоляного зенита.

Лежала Анна Власьевна на том старом скрипучем диване почти год. Ее не стало неделю назад. Перед самым Новым годом.

Ничего старуха не отписала ни Вере, ни другим соседкам, что ходили к ней, заходили в вечно, безбоязненно открытую дверь, а вдруг умру, и ломать будут, жалко улыбаясь, шамкала кружевница, – а у нее просто ничего и не было: ни денег наличных, мертвых бумажечек, весело шуршащих в старом кожаном, похожем на сердечко портмоне, ни сберкнижек, ни дорогущих камешков, старательно оправленных в тяжелое темное от старости золото, – ну совершенно ничего, кроме ее родных, зимних кружев, заметавших вечной метелью ее долгую тоскливую жизнь.

Кружева старухины растащили соседки. Вере удалось припрятать немного струящейся дырчатой, нитяной вьюги. Когда Верины руки прикасались к Анниним кружевам, у нее мгновенно замерзали ладони. И ей казалось, что по ее ладоням ползут ледяные, морозные узоры. Это смерть касалась Вериних ладоней своими. Просила ее о чем-то. Смерть тоже хотела праздника. Нового своего года.

Вера скосила глаза: вон она, елка Анны Власьевны, теперь у нее в углу комнаты, она перенесла елку к себе из опустелой квартиры. Вера на глазах старухи наряжала эту ель. По приказу кружевницы Вера вытащила из кладовки, сняла с высокой полки, встав на цыпочки и кряхтя, громадный как дом ящик, и потряхнув его боялась, бережно несла: она уже знала, что там, внутри. Поставила на стол, развернула ветхие картонные лопасти. В глаза ей ударили косые

цветные лучи, и она радостно и потрясенно зажмурилась. Ящик был доверху полон старинных елочных игрушек; у Веры отродясь не было таких. «Это же роскошь какая», – шептала она, напуганно и медленно вынимая из ящика и раскладывая на столе, будто дорогушие, в хрупких ампулах, заграничные лекарства, умопомрачительные игрушки: картонные грибы с крашенными маслом шляпками и белыми ножками, а внизу на ножке поблескивал зеленый крап, травка, значит, и к ножке приделана медная проволока, чтобы обмотать ее вокруг толстой колючей ветки; фонарики, собранные из стеклянных трубочек, а внутри нежно сияло дутое стекло, вылитое в виде большого золотого зерна; плоских медведей, белок и рыбок из золоченого картона, на нитяных петельках; шары, отливающие морской синью и лиловой, в сизом налете, сливой; стеклянные часики, посыпанные сверху блестящей стеклянной крошкой, это снегом, так выходит, и навек на часах тех застыло священное время – без пяти минут полночь; полые внутри, нежнейшие лодочки с ватными гребцами, а вместо весел у них в руках промасленные щепочки; и вот под руки ей сама скользнула громадная, как сама никчемная промчавшаяся жизнь, золотая еловая шишка, а крепленья-то у нее не было, чтобы ее к ветке прицепить; и Вера смущенно и горестно оглянулась на хозяйку: «А эту куда?» Старуха через силу махнула рукой, и Вера проследила направление ее сморщенного указующего перста: на верхушку. Старые мокрые глаза умиленно глядели, как Вера, опять по-детски встав на цыпочки, вытянувшись вся, надевает, натискивает чудовищную золотую шишку на елкину макушку. И, когда шишка была надета благополучно, Вера отступила в сторону, шагнула широко и чуть не упала, чуть не свалилась на наполовину наряженную елку. И обе ахнули от ужаса: сгибнет! – а потом от восторга: цела! «Елка это госпожа, она любит богатые украшения, привереда», – бормотала Анна Власьевна сквозь остатки зубов, и Вера еле разбирала слова.

А когда ель была Верой наряжена целиком и полностью, Анна Власьевна вдруг прищурилась непонятно, скорбно закусила рот, щеки ее впали внутрь черепа, под зубы, лицо пострашно, и с губ ее слетели слова уж совсем Вере непонятные: «Снимай... все снимай... обратно... в коробку клади!» Как, все игрушки снимать, изумленно переспросила Вера и обвела елку потерянными жестом, будто прощалась с ней. Да, да, кивала старуха, все, все!

И Вера, с дрожащими губами, столь же осторожно, едва дыша, снимала игрушки с ветвей: отстегивала замочки, развязывала завязки, стаскивала петли, разматывала старую медную проволоку. Все игрушки вскоре лежали в ящике и молчали. Вдруг сверкавший наверху блестящей драгоценной кучи фонарик свалился вниз, в прогал между стекляшек, и легкий звон ясно дал Вере понять: разбился.

Старуха велела укутать голую черную ель в белые кружева. И получилось так, будто елку замела метель; снежное кружево вспыхивало и мерцало, и плакала Вера, поднося ко рту большой мензурку со снадобьем, а старуха уже не могла глотать, и говорить не могла, могла только смотреть, слезно и благодарно. Губы еще шевелились, а слова умерли. Глаза вспыхнули напоследок. Руки лежали на груди бездвижно. Вдруг палец согнулся и слабо, нежно поманил Веру. Вера наклонилась и приставила ухо ко рту Анны Власьевны. Старуха чуть слышно шептала: «Е-ру... са-лим... Еруса... лим... Ты... за... ме-ня... ту-да... сту-пай...»

Так, с легким выдохом: «Е-ру... са... лим!..» – и застыли круглое крупное лицо и тяжелые, лежащие двумя могучими осетрами на крупной груди, опухшие руки – эти пальцы, Вера видела, вывязывали снег и лед, облака и ветер, они вывязывали, плели счастье, и никто из людей это нежное счастье в глаза не видел. Застыло тело; оно, грузное и крупное, показалось Вере огромной енисейской баржей, приварившейся на всю долгую, вечную зиму к берегу, вмержшей в твердый белый гранит льда. А душа, где она? Куда же девается все-таки эта душа? Ведь есть она внутри Веры, есть! Вот же, под рукой бьется!

Вера прижала левую руку к груди. Слева и правда билось, оголтело и больно. В чужом шкафу Вера слепо нашаривала чужие лекарства, ей было все равно, что – капли, таблетки, –

она глотала горечь, и ей хотелось жить. Жить, еще немного! Еще чуть-чуть пожить! Не уйти! Как все они!

...как все они.

...а ты разве как они?

...сочтены твои дни. Погаснут твои огни. Не хочу гаснуть. Я хочу, чтобы всегда. Все люди умирают? А я останусь. Что надо сделать, чтобы не умереть? Сидеть дома, чтобы не убили? Не ездить, чтобы не разбиться? Какое хрупкое тело, стекляшка, фарфор. Дрянь жизнь, если она такая хилая.

...время – вот кто убьет...

...неужели нет ни одного человека на свете... ни одного, чтобы – жил всегда... вечно...

...а – Бог? Кто такой Бог? Кто бы объяснил.

Вера мало читала книжек. Она все больше листала журналы. В красивых журналах печатали про модную яркую жизнь. Вера разглядывала голоногих девиц с яркими ртами, дивилась на заграничных актеров, что то женились, то разводились, то опять играли пышные, на полмира, свадьбы. Вечерами смотрела телевизор, рассеянно следила, как по экрану бегают человечки, взрываются бомбы, вырастают из-под земли дворцы, крепко целуются мужчины и женщины, а потом мужчины жестоко бьют женщин, а потом опять обнимают и даже встают перед ними на колени. «Е-ру-са-лим, Е-ру-салим», – шептала Вера себе под нос, без мыслей глядя на шевелящийся экран, потом выключала говорящий и танцующий ящик, шла на кухню, вынимала из холодильника копченого чира, отрезала от него дрожащий, как холодец, жирный пахучий кусок и среди ночи ела вкуснейшую рыбу, и запивала горячим сладким чаем, и обжигала язык. Жизнь! Прекрасно было жить, есть чира за полночь, глядеть дурацкий журнал с нагими моделями; но в углу व्यюжно и бессмертно мерцало последнее старухино кружево, и жизнь текла и утекала прозрачным, тончайшим кружевом между пальцев, лилась и струилась, и вспыхивала ночным бешеным светом уже у тебя за спиной, и Вера старалась оглянуться, пыталась вывернуть шею, чтобы краем глаза схватить, уловить этот исчезающий свет, а его уже не было, и следы Веры на зимней дороге уже заметал снег, и невозможно было вернуться, найти под покровом свой след, надо было ступать по чистому снегу, по насту, по зеркальному льду, и Вера боялась поглядеть вниз, себе под ноги: она страшилась увидеть свое отражение. Ты завтра будешь старая! И все кончится. Брось, не обманывай себя! Ты старая уже сегодня!

Вера или слышала, или читала, или видела в телевизоре, или же ей кто-то рассказывал, что есть такое место на земле, может, город, а может, деревня, а может, это было древнее поселенье, а сейчас нет его на земле; нет, есть, перебивала она сама себя, еще как есть! – и повторяла и про себя, и вслух дрожащими губами: Еру-салим, Еру-салим, – пока на странице случайно купленной в киоске газеты не прочитала, черным по белому: «ИЕРУСАЛИМ», – а что-то в газетке такое было оттиснуто про то, что в Иерусалиме этом самом взорвали бомбу на свадьбе, и много народу погибло. Вера узнала, что в Иерусалиме живут евреи; да разве же Анна Власьевна еврейка была, смятенно бормотали губы Веры, она ж из Вологды, она ж русачка подлинная, кружевница моя дорогая! – и тут Вера заливалась слезами: Анна Власьевна стала ей вроде матери, так она за этот год присохла к ней душой. Вера еще расспросила людей, спрашивала всех, и соседей из всех подъездов, и народ в очереди, и торговки на рынке, и даже детей, из школы бегущих домой: а что за город Иерусалим? а кто там живет? а что там такого дивного, удивительного, – и думала со страхом и досадой: почему о нем были последние слова умирающей Анны Власьевны, и почему она сказала ей: «За меня туда ступай». Как приказала.

Она все повторяла и повторяла, про себя, шепотом, мысленно: «За меня туда ступай, ступай, ступай», – пока однажды, зимней ночью, вот сейчас, сию минуту, она устала это повторять. Стояла около окна, и эти, уже надоевшие, слова тихо угасли в ней, а взамен явилось сильное чувство, и бороться с ним она вовсе не собиралась, наоборот, с радостью склонила голову, этой

силе подчиняясь. Она чувствовала: вот теперь надо собираться, и уже огляделась, ища глазами вещички, что посует в дорожную сумку.

Опять посмотрела в большую черную, квадратную купель окна. За стеклом тускло вспыхивал и гас под фонарем снег. Она вспомнила себя ребенком. Мать везла ее в санках из бани, крест-накрест повязанную старой дырявой козьею шалью. Мать туго стягивала шаль, туго-натуго затягивала крупный шерстяной узел на спине тощей малявки, грубо усаживала ее в санки, всовывала ей в руки, в неуклюжие варежки, сумку с бельем и, согнувшись и низко опустив голову, как нагруженная поклажей лошадь, везла чистую дочь домой, волоча санки за бечевку. Вера глядела по сторонам; мать и правда казалась ей лошадью. Полозья санок расчерчивали белый ковер снега, он швырял Вере в румяное, распаренное лицо алмазные искры, он весь был алмазный, все вокруг сверкало царским блеском, аж больно было глазам, Вера жмурилась и беззвучно смеялась. Мать, обреченно таща санки, оборачивалась к Вере и выплевывала сквозь зубы: «Дура она и есть дура!» Вера не обижалась: мать только с виду была сердитая, а по-настоящему добрая; на Пасху она сама пекла в духовке похожий на кривую папаху кулич и луковой шелухой красила яйца, и нежно гладила их, и повторяла: «Вот, доченька, Христос все равно воскрес, все равно». И Вера верила этому, а потом не верила. Все, кто умирал в ее жизни, не воскресали. Не воскресал никто.

Однажды они с матерью – ей было лет десять – поехали из Красноярска в гости к материнной сестре, еще живой, в городок Лесосибирск, это там, где Ангара в Енисей впадает. Верина тетка называла этот городок другим именем – Маклаково. «Что такое Маклаково?» – спросила Вера. «Это ад на земле», – просто ответила тетка. Ее руки работали: быстро тянули шерсть, быстро вертели веретено. Вера впервые видела прялку, тарашилась. Она вспомнила, как мать называла адом непонятный Туруханск. «Что такое ад? Почему ад?» – «Здесь людей мучили и убивали. Мёрли тут люди, ложились в землю штабелями». – «Почему они ложились штабелями?» – «Потому что люди всегда убивают людей». – «У нас в школе никто никого не убивает! И в доме тоже!» – «И сейчас убивают. Только мы про это не знаем». Веретено чуть слышно жужжало, Вера пристально смотрела в опухшее, с тремя красными язвами на подбородке, суровое лицо тетки. «А тут кто кого убивал?» – «Люди людей, я же сказала тебе». Вера стала слушать шорох веретена и заслушалась. И больше не говорили они ни про каких мертвецов.

А после Вера с соседскими детьми пошла играть к Ангаре, река влекуще-синим, холодным светом текла за сараями, за крытыми жестью избами и баньками. Дети выбежали на луговину, под ними круто обрывался к реке откос. Мальчишка, стрижка бокс, бросил, громко шмыгая: «Ну чо, в футбол?» Какой футбол, пожалала плечами Вера, а мяч-то где? Стриженный ринулся в тень сосен, носком ботинка выкатил из-под голых, облизанных ветром корней человечесий череп. «А вот мяч! Мы тут всегда черепами в футбол играем!» Дети громко захохотали и подбежали к страшному костяному шару. Пнули его раз, другой. Белый высохший шар покатился, пугая дырами глазниц. Вера повернулась и побежала прочь. Она подбежала к соснам, запнулась об корень, растянулась на земле, на сухих иглах, подползла к сосне, вцепилась в рыжий ствол руками, щекой прижалась к земле, слезы катились, ее рвало, дети глядели на ее спину, что тряслась, будто Вера была ковер, и ее выколачивали.

Мать сказала ей, что близ села Маклаково в стародавние времена возвели лагерь смерти, там люди работали принудительно, и сбежать оттуда нельзя было; кого забили насмерть, кого застрелили, кого ножами порезали, кто с голоду умер; выжили единицы. Говоря это всё, мать вытирала слезы большой и плоской ладонью. Потом приблизила рот к щеке Веры и прошептала: «И отец твой, верно, на северах так и сгиб». При слове «отец» Вера вздрогнула, но не сказала ничего.

А тетка Верина в том лагере одно время работала главной поварихой. Варила людям суп в громадных котлах. Продуктов на суп выделяли мало, и тетка смеялась: «Хоть от себя кусок отрезай да вари, чтобы вышло наваристей».

Вера ничего этого не знала. Всё, как в шкатулках, хранилось в матери и тетке – и ушло в землю вместе с их жизнями. А у Веры была одна жизнь, и она была ее собственная.

Как всем людям, Вере не верилось, что она когда-нибудь умрет. Люди умирали вокруг нее, а ей казалось: такого с ней никогда не случится, со всеми – да, а с ней – нет.

И вот стоит она у черного, в алмазную ночь, окна, и за закрытыми парчой куржака крышами домов и столбами фонарей курится страшный водяной вулкан, близкий Енисей, и спрашивает Вера сама себя: да на черта поедешь ты, потащишься в какой-то неведомый Иерусалим, а может, и пешком пойдешь, ведь на билет у тебя денег нет, дорогой туда билет-то, как пить дать, дорогой! Бесценный!

Бессильно оглянулась. Да, вот эту тряпку взять, и эту, и эту; теплый свитер в дороге нужен, и теплые носки пригодятся, и теплый шарф; ту детскую шаль, что узлом на спине завязывала на ней мать после бани, давно уже на свалке с другим мусором сожгли. А летнюю кофту? И летнюю взять: там ведь юг, в Иерусалиме этом. И, может, взять даже сарафан. Он висит в шкафу. Мылом пропах, она от моли мыло в шкафы кладет; так делала ее мать.

Чем старше Вера становилась, тем больше повторяла мать – делами, ужимками, даже говором; ловила себя на этом и гневалась на себя: она хотела быть сама своя, неповторимая.

Пятилась от окна. Присела. Вытащила из-под дивана материнский чемодан. Вот в Лесосибирск с ним и ездили, а больше с тех пор – никуда; да, никуда не выезжала из своего города Вера, из своего дома, из жизни своей.

– За меня туда ступай, – тихо, а ей показалось, громко, и испугалась, что соседней перебудит, произнесла Вера.

И сама себе ответила:

– За тебя туда пойду.

Отвернулась сердито от лохматой белокозой зимы, следящей за ней из окна. Открыла дверцу шкафа, стала кидать вещи на пол, рассматривать придирчиво. Откладывая, какие с собою возьмет. Вдруг из угла, из-за свернутого в рулон старого ковра, медленно махая сонными крыльями, вылетела большая бабочка. С ее крыльев на Веру смотрели два круглых черных глаза в золотых ободках. Бабочка села на занавесь, уцепилась лапками и так, свесив брюшко, сидела. Замерла. Вера тоже замерла. Глядела на бабочку.

– Ну ты-то еще тут зачем!

Хотела тихо сказать, не спугнуть, а получилось – вскрикнула. Бабочка вздрогнула крыльями и взлетела со шторы. И стала нервно, безумно порхать по комнате, биться в стены, подлетала к окну – оттуда шел белый призрачный свет, и она рвалась к свету. Осыпала с крыльев серебряную пыльцу. Гасли черные очи в золотых кругах. Дрожала все сильнее. Дрогнула крыльями последний раз и упала на пол. Вера, стараясь тихо ступить, подошла к бабочке и наклонилась над ней. Будто кланялась кому-то в пол, земным поклоном. Вступило в спину. Боль скрутила. Вера вскрикнула. Протянула руку и осторожно взяла бабочку двумя пальцами. Положила на ладонь. Выпрямилась, ко рту поднесла, дышала на нее.

– Слушай-ка... ты чо... и правда умерла... ну ты чо... ты чо...

Бабочка лежала у нее на ладони, скрючив брюшко, поджав под себя бледные лапки. Изнанка ее крыльев была нищей и тусклой. Смутно просвечивал через бледную пыльцу яркий рисунок лицевой стороны.

– Бедная ты... бедная...

Вера чуть было не добавила: «Как и я». Еще тепло подышала на бабочку. Всё. Бесполезно. Труп. Трупик.

– Куда тебя?..

В мусорное ведро – жалко. Сначала хотела в шкаф с посудой; туда, где сервиз; в коробочку, где лежали рассыпанные материны агатовые бусы. Передумала. Подошла к окну; поднялась на цыпочки; открыла форточку; стала коленом на подоконник, еще подтянулась, дотя-

нулась до открытой дыры в ночь и перевернула ладонь. Вьюга подхватила бабочку и понесла ее, обнимая весело вихрящимся снегом. Вере почудилось, что снег тихо гудит, как теткина прялка. «Все умирает. И прялку сожгли. Кто тут будет жить после меня, если со мной что? Одинокая я. Может, дитёнка на воспитание взять?»

Она следила, как медленно вьюжный вечер уносит во тьму еще одну чью-то душу. Мать говорила: бабочка – чья-то душа. И птица – чья-то душа. Бабочка прилетит – весть, знак: душа о тебе помнит. А птица на карниз сядет, клювом постучит – это значит, тот, кто умер, к тебе сегодня стучится.

Вера села на корточки, открыла замки чемодана, откинула крышку и стала собирать вещи в дорогу. Аккуратно укладывала кофты, юбки, белье. Закрывает чемодан, взяла за ручку, подняла. Поморщилась: тяжелый!

– Да кто же в такую дальнюю дорогу с чемоданом-то... руку оттянет... живот надорву...

Из тьмы шкафа вытащила свой старый, детский ранец. С ним – в школу ходила. Утолкала в него тряпки. Прodela руки под ремни. Стояла перед зеркалом, смотрела в его то серебряный, то угольно-черный прогал.

– Ну вот... Так-то лучше... руки свободны. Но смешная...

Смешная, воистину смешная! Старая, а девчонка! Не каждому дано такое. А вот она такая. Сама себе улыбнулась. Улыбка прорезала слои серебряной тьмы и вонзилась в тупое, глупое стекло. Оно стекало струистой водой, отражало Верину дрожь и Верино предчувствие боли и радости. Путь, что он сулит ей? Могучая земля выгнется под ее старыми сапожками, и пойдет она по этому мощному выгибу, шатаясь и восхищаясь, да не за что будет держаться, совсем не за что. И запросто можно упасть и разбиться. Нет. Не разобьется. Ее, как ту бабочку, ветер унесет.

Повертелась перед зеркалом. Пригладила волосы. Сообразила, что стоит, с детским ранцем за плечами, – в ночной рубахе. Ворот рубахи и ее раструбы-рукава оторочены кружевом. Опять кружево. Везде кружево. А может, она не человек уже, а елка, и колючки топырятся, и игрушек на ней никаких нет, украшений, серег и цепочек, и только кружевом ее и можно – до глотки – замотать?

– Я... горло... да... с собой взять...

Подкралась к елке, обмотанной прозрачной снежной, легчайшей паутиной, как белой пеной; стащила белизну с черных ветвей. Уколола иголкой палец. Рассмеялась неслышно. Так стояла – со смотанным в неряшливый, мягкий клубок кружевом мертвой старухи, в чью честь она отваживается на дальний, долгий путь, глядела на кружево и осязала его нити, неровности и рельефы кончиками пальцев. Зачем еще эта нитяная метель ей в дороге? Что ее разобрало? Но, не останавливая себя и не отговаривая, она скинула ранец с плеч, смяла в комок и затолкала кружево в заплечную суму, и оглядывалась, будто кто подсмотрит, и шептала сама себе: пригодится, в дороге все пригодится.

Защелкнула замки, затянула на ранце ремни. Распрямилась. Опять на себя в зеркало глядела. Лицо ее было похоже на поросший пестрыми перьями лик северной совы. Круглые, чуть раскосые глаза стыли. Чуть крючковатый нос свисал над губою. Бровей почти не было – выцвели, выпали. Тонкий рот поджат, будто собиралась длинно и нехорошо ругаться или кого дрянного презирать. Одинокая уродина, спокойно, совсем не горько подумала она про себя, вот и пойдешь в мир, вот и поезжай, развеешься хоть, да хоть на красоту посмотришь; не видала ведь ничего, запечная тараканица.

Сиянье в гладком стекле, оно отражает не тебя, замухрышку, никому не нужную Веру Сургут, а то, что есть самого драгоценного в тебе: то, о чем ты сама не догадываешься, но что сквозь тебя просвечивает, в особенности глубокой зимней ночью. А где денег взять? На дорогу, да, на проезд? Смутно она представляла себе: Иерусалим – это на другом конце света. Если пешком идти, ноги в кровь собьешь, даже и без железных башмаков. У нее есть пенсия; это

то, что платит ей ее страна, чтобы она не умерла с голоду. Еще она может подработать. Пойти и разгружать ночью машины с хлебом, что приходят к булочным и стоят перед открытыми дверями, и мороз нагло врывается в каменную коробку вслед за лотками с теплым хлебом, вслед за людьми. Беда только, грузчиками лишь мужчин берут. Баб не берут. Ну, может, берут, в виде исключения. Еще можно поработать нянькой. Она работала. Ребенок орет благим матом, а ты сначала его за руку трясешь: «Хватит! Прекрати!» – потом на руки берешь и тетешкаешь, и подбрасываешь, чтобы он сотрясся и задремал, а потом, когда у тебя уже совсем ничего не получается, можно дитё напугать: сдвинуть брови, оскалиться и зверем зарычать, а после воскликнуть: «Волк идет! Брось плакать, а то он тебя съест!» Иногда волк помогал. А иной раз слезы у дитёнка лились еще пуще. Стой! А можно просто занять!

Занять-то ты займешь, да кто тебе даст?

«Съисть-то он съисть, да хто ж яму дасть», – вспомнила Вера, как тетка на Ангаре говорила смешную старую пословицу, а потом немного, но обидно шлепала Веру по тощему задку.

И тут она, как наяву, увидала перед собою знакомое лицо. Лицо старушки Расстегай, подружки покойной Анны Власьевны.

Старушку Расстегай так прямо и звали все: старушка Расстегай, и никто не знал, прозвище ли это было или настоящее ее имя. Она жила в домике напротив, близ заброшенного детского сада, и домик этот люди надменно называли «собачьей будкой». Старушка Расстегай исправно ходила в храм, все стены ее домика были увешаны лубочными иконками, бумажными образками. Из книг на старой, крашенной морилкой этажерке лежали: Ветхий Завет, Новый Завет и Псалтырь. Перед особо большой, на полочке в красном углу стоящей иконой Божьей Матери Казанской горела красной ягодой лампада. Горела всегда. Старушка Расстегай себе хлеба не купит, а маслом лампадным в церкви запасется.

– Да, вот к ней и пойду... она подскажет.

Насилу зари дождалась.

Как посветлело туманное небо, подернулось белесой, словно инистой дымкой, Вера повязала с кистями платок, белый как метель, усыпанный тканями яркими розами, всунула ноги в зимние короткие сапожки, еще материнские – она много чего донашивала за матерью, – накинула на плечи старую дубленку с рыжим лисьим, долыса вытертым воротником и отправилась к старушке Расстегай. Чтобы к Расстегай попасть, надо было лишь дорогу перейти.

«Вот бы так и в Иерусалим этот попасть: раз, и в дамки. Нет, за ста землями он!»

Сдернула варежку и постучала. В руку зубами вцепился мороз. Костяшки пальцев заболели от стука.

Стучала смело – в окне у старушки Расстегай горел свет, она вставала ни свет ни заря и молилась.

Шарк-шарк – раздавались за дверью шаги.

– Кого Бог послал раненько?

Тонкий голос звучал весело и безбоязненно.

– Бабушка, открой! Это я, Вера.

– А, Верушка! Ранняя пташка!

Мгновенно распахнулась дверь.

– А ты что, бабушка, на ключ не запираешься?

– Однако только на крючок! Однако кому я нужна, старое базло!

Вера нашарила на полу голик и им отряхивала сапожки от снега. Старушка Расстегай умильно глядела на нее. Ее круглое раскосое лицо катилось на Веру, как с тарелки печеное яблочко.

– Да хватит, хватит! Обувку не сымай! Проходи! Каво явилася? Я-то щас помолюся – да в храм, к ранней обедне! А ты каво? Случилось чо?

– Нет, бабушка! – Спыхватилась. – Да, бабушка. Я... за советом. И за помощью.

– Ах ты душечка! Да разве ж я молодым помочица! Это я тебя должна просить мне помочи! Ну ты давай... однако к столу... чайку... у меня чайник горячий... только накипятила...

Старушка Расстегай швыряла на стол, укрытый ветхой, в старых винных пятнах, скатеркой из буфета, похожего на ржавый танк, битые блюдца, щербатые чашки. Из заварочного чайника лилась, вилась темная струя. Вера понюхала чашку.

– Бабушка, у тебя, как всегда, на травах.

– Да, миленькая! Да, солнышко! А без трав-то мы куда! Да никуда! Это однако здоровье! А сахарок у меня скончился! Вон, в чаёк-то жимолось швырай!

Перед Верой на столе, укрытом скатертью с аппликациями, стояла вазочка с темным, почти черным вареньем из жимолости. Длинные ягоды, похожие на длинный черный виноград, высывались из густого сиропа, дразнили. Вера подцепила варенье ложкой и положила не в чай, а себе в рот.

– М-м-м-м... вкусно... сама варила, бабушка?

– Нет! Добрые люди принесли! добрые, вроде тебя!

– А я – добрая?

Вера спросила даже не ее – себя спросила.

И думала: «Добрая я или нет? Добрая или нет?»

– Ты-то? – Старушка Расстегай весело всплеснула короткими ручонками. – Еще какая добрая! Однако добрая, да! Вот мне одеяло подарила! И мне под им тепло!

Вера покосилась на топчан со свернутым в огромную колбасу стеганым одеялом.

– Я рада, бабушка, что греешься ты.

– А это чо, твое детское?

– Ну да. Меня им – мамка в детстве укрывала.

– Вот-вот, а щас старенькая Расстегайка укрывается... все чин чинарем!

Вера осмелилась. Нырять, так головою в омут.

– Бабушка. Анна Власьевна мне... – Слово искала. – Завещала... В Иерусалим сходить.

– Сходить?!

– Ну, съездить. Какая разница.

– В Ерусалим!

– Ну да.

– В Ерусалим!

– Да! Да!

– В Ерусалим!

– Да Господи, да что ж такое в этом Иерусалиме?! – тоже ошалело закричала Вера. – Вообще, что это такое?! Город?! Деревня?! Зачем Анна Власьевна меня туда перед смертью послала?!

Вера кричала, как на пожаре. И опять она это кричала не старушке Расстегай, а будто бы самой себе. Самоё себя перекричать пыталась.

– В Ерусалиме?! Да разве ты не знаешь?!

Обе орали.

– Нет! Откуда мне знать!

– Да врешь ты всё! Знаешь! Со мной играешься! С бабкой старой, постыдилась бы!

Вера и вправду покраснела, до удушья.

– Не играюсь я с тобой! Я в газете читала, это в Израиле! Где евреи живут!

– Евреи... Да ты чо! Евреи еврейми, а Храм Гроба Господня там! Там! И часовня на Елеоне – там! И Гефсиманский сад там! И Иисус там последнюю муку принял! Там – Распятие воздвигли! Там! Распяли Его на кресте! Пригвоздили! И кровушка с ладоней текла! И из ног Его пробитых текла! А ты притворяешься тут мне! Эх ты!

Старушка Расстегай рассердилась не на шутку.

Вера верила этому гневу. Она почувствовала себя неучем и дубиной, и опять ей было стыдно, как было стыдно часто, почти всегда. Иногда она стыдилась даже того, что живет. «Вот, живу на белом свете, небо копчу, а кто я такая? Ну кто, кто я такая? Зачем – я?»

– Да ты крещеная, Верушка, или некрещеная? – прекратив вопить, деловито осведомилась старушка Расстегай.

Вера опустила голову.

– В детстве... знаешь... я спала в кроватке такой, ну, знаешь, не доска, не пружины, а внизу, под матрацем, сетка. Крупная сетка такая. Как рыболовная... но... железная. И...

– Ну, спала, спала! Все мы спим! – насмешливо склонила старушка Расстегай к плечу свою круглую яблочную головенку. – Я тебя про другое спросила, душечка!

– И я спала... а подо мной... ну, к этой сетке железной... привязан крестик был. У него такие концы, знаешь... не длинные были... а вроде как скругленные.

– Какой крестик? Почему привязан?!

Расстегай опять сорвалась на крик. Она честно ничего не понимала. А Вера пыталась объяснить.

– По тому по самому! Я только потом догадалась, ну, когда выросла, что это мой крестильный крестик! А носить нельзя было, ну, мать к койке моей и пришпандорила! Подо мной мотался. Ну, дескать, я сплю, и крест мой меня охраняет! Поняла?!

Расстегай заткнула крошечными, как у ребенка, пальчиками уши.

– Поняла, не ори ты! Это ты меня перед обедней так вздрючила! Грех какой! И чо ты мне хочешь сказать? Крещеная ты, однако дошло до меня! – Тут Расстегай осенило. Она помрачнела вмиг, ее пальчики слепо искали чашку с горячим чаем и не могли нашарить. – А может, это чей другой крестик там у тебя мотался! Может, с ним мамке твоей кроватку продали! С рук у кого приобрела! Чай, беднячка мамка-то была твоя! Как пить дать!

– Пить дать, – растерянно и тихо, эхом, повторила Вера – и прихлебнула терпкий, пылающий огнем в щербатой чашке травный чай.

– Пей, пей! Я тут и стланик заварила, и верблюжий хвост! Пей!

– Верблюжий... хвост?..

Вера брякнула чашкой о блюдце. Чай выплеснулся на скатерть. Рядом с красным винным расплывалось коричнево-зеленое чайное пятно.

– Травка такая, дурешка... наша, саянская... Ить, никак ты не знаешь...

– А зачем ты меня спросила, крещеная я или...

– За надобой! Ить в Ерусалим побредешь! По льду, по снегу, однако... А ты знаешь каво? а вот и не знаешь! Там, рядышком, говорят... это... Мертвое море! Мыслю так, в этом море-то погибают все жуткие грешники! Немыслимо кто нагрешил на земли! И Юдушку там утопили! Посля таво, как он повесился на дереве! Правда, – Расстегай шмыгнула и отпила чай, – и другое болтают. Якобы Юдушку бросили в овраг, куда дохлую животину бросали, на съедение псам... и мухам, язви их!

– А Юдушка это кто?

Вере снова было стыдно спрашивать, но спрашивать надо было.

Расстегай взбросила крохотные детские ручонки. Ее морщинистые губы согнулись скорбной подковкой.

– Господи! Твоя святая воля! Юда, ну, Юда! Предал он Господа нашего! Ну вот же!

Расстегай будто ветром выметнуло из-за стола, она подкатилась на коротких ножках к этажерке, крашенной морилкой, подержала на руках одну тяжелую древнюю книжку, другую, помотала головой, подбежала к буфету, рванула стеклянную дверцу, нашарила среди чашек и блюдец старое толстое, распухшее от тысяч листавших его пальцев Евангелие, шелестела страницами; нашла, что искала. Тыкала книжицей в нос смущенной Вере.

– Вот, вот! Юда! читай!

Вера уставилась в книгу.

– Вослух!

Вера взяла книгу из рук старушки Расстегай и начала, запинаясь, читать.

– Когда же настало утро, все перво... священники и старейшины народа... народа... имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти; и, связав Его, отвели и... предали Его... Понтию Пилату, пра... правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сере... сре-бре-ников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь... невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и... и...

– Ну чо и? Чо и? Чо замолкла?

– И... удавился.

– Видишь! Видишь, голубонька, чо происходит-то! Удавился он, пес таковский! Так ему и надо, псу! Пес он и есь пес! Смердящий!

Вера не знала слова «смердящий», но как-то быстро догадалась, о чем оно.

– Собак не обижай, бабушка.

– Дык я и не обижаю! Это Юдушка пес!

– А зачем же ты его так ласково называешь, Юдушка, если он такая сволочь?

Старушке Расстегай нечего было ответить на эту правду. А может, просто расхотелось говорить. Обе прихлебывали чай с верблюжьим хвостом молча, сосредоточенно, и в воздухе раздавались чмоканья и нежное дутье на горячие чашки. Но остывал чай, и стыло, как на морозе, черно-синее варенье с друзьями крупных длинных таежных ягод; и стыло время под грудиной, под ребрами. У Веры сильно, часто забилося в груди, и она охнула и прижала к кофте ладонь.

– Сердечко прихватило? – понятно, тоненько спросила Расстегай. – А у меня валидольчик есь! Однако дать?

– Да само пройдет, – Вера ловила ртом воздух, – немного побьется и пройдет...

– Каво ж ты, такая болезная, в такую далекую дорожку отправишься! Может, не потащишься в Ерусалим? Зимка... хозяин собаку на двор не выгонит... а далече! Ох, далёконько тот Ерусалим-то! дальше Байкала, небось! дальше Урала!

Вера, глядя перед собой твердо, мрачно, сжала губы так плотно, что они склеились в тонкую нить.

– Нет. Пойду. Бабушка, я пообещала. Анна Власьевна зачем-то мне это... – Она опять искала слово и опять нашла. – Завещала. – Обрадовалась слову, как потерянному и найденному ребенку. – Завещала! Я выполню ее завещание.

– Да, – прикрыла ладошкой рот Расстегай, всхлипнула, – она, Анночка-то, была тебе прямо-таки как мать... за мать...

– Мать одна, – твердо, так же железно, перед собою сурово глядя, сказала Вера, – у меня одна мать. Но завещание Анны Власьевны исполню. И... Иерусалим посмотрю. А Бога... – Она сглотнула: стыдно было говорить про Бога, она ведь совсем не знала Его. – Бога правда там распяли?

– Да! Да! – Расстегай обрадовалась этому вопросу, как подарку. – Ну да! Правда! Он туда пришел и проповедовал там! Учил! Народ учил, безмозглых скотов, мы ить многие, кто Бога не знает, скоты...

– И я – скот?

Вера хотела спросить серьезно, строго, но ей внезапно стало смешно.

Старушка Расстегай, склонив к плечу круглую голову, глядела беззлобно.

– А каво ты так вылупилась? Обидно? Скот он и есь скот; он – живность. Он – святой, скот! Да только ить безмозглый. Мозгов-ить у него хватает на чо? пожевать, пожрать, зачать, родить, да помереть – под нашим же ножом. Ах, скотинка! Понимает все скотинка, когда ее на смерть ведут. Глядит таким глазом... сливовым... Вот ты на бойне когда была? А? Никогда? А я была. Не приведи Господи тебе там побывать! Я там – уборщицей работала... Везут скотинку в клетках... коровы, быки тарашатся, чувят, их убьют сей же час... Убьют! Нет, ну ты, однако, пойми: убь-ют! И они... в отличие от нас, душечка... не воскреснут! Нет! Никогда не воскреснут! Хоть и Божьи твари!

Вера зажмурилась. Она вообразила себя Божией тварью. Коровой бессловесной, издающей лишь гулкое глухое мычанье. И хлещут ее кнутом; и доят вечером; идет она не за дудкой пастуха, а за звонким его криком – дудки умерли и все закопаны в лесах, в полях и за околицей; и ищет корова широким, как лопата, носом яркую свежую траву; а не находит, так губами жалкую, сохлую щиплет.

И страшно, дико и радостно стало ей, что она не корова, а человек.

...Расстегай, я не корова...

...а кто я?..

...если бы знать...

Встала, вылезла из-за стола. Перед глазами мотались неведомые, как из ночного сна, желтые и серые здания, похожие на соты. Они то разрушались, то восставали из мрака и праха. Вера помотала головой, чтобы отогнать видение, как зимнюю медленную муху. Старушка Расстегай беспомощно крикнула, будто с того света:

– Куда, куда! А чаёчку еще! С верблюжьим хвостом, хвостиком душистым!

Вера все крепче, суровее увязывала белый свой, снеговой платок вокруг горла.

– Нет, бабушка. Спасибо. Пойду собираться. У меня уж башка плохо соображает. Надо все терпеливо собрать. А дорога дальняя.

Расстегай согласно закивала. Так смешно и глупо кивали белыми звонкими пустыми головами на тонких шеях фарфоровые китайские бонзы – их красноярские женщины покупали в подарок мужьям и детям к Новому году на Восточном рынке: потешить, развеселить.

Тихонько подкатилась старушка Расстегай к тумбочке рядом с топчаном. Цапнула, будто птичку поймала, с тумбочки книжку. Размахренную, расхристанную! Гладила ее, дула на нее, будто на болящие открытые раны, и боль надо было сдуть, как пыль. Поднесла к лицу, поцеловала, прижалась к коже переплета лбом.

– Верушка! Держи. Это тебе!

Вера бережно приняла книгу на протянутые ладони. Рассматривала. Листала.

Желтая бумага кое-где рассыпалась от старости. Осыпалась бабочкиной пылью.

– Что это, бабушка?

– Это-то? Ох ты! Верушка! Каво, читать не умеешь, однако! Евангелие это, вот это чо!

– Бабушка, – Вере было стыдно до слез. – Что такое Ева... Евангелие?

– Вот и узнаешь.

Расцеловались троекратно. Расстегай целовалась как ребенок: вкусно, упоенно. Вера едва прикасалась губами к морщинистым круглым щекам. Мелькнула мысль: «Увижу ли Расстегайку, когда вернусь? а вдруг помрет?» И следом забило в висках: «...если вернусь». Высохшая лапка старушки Расстегай голубем взлетела над ее круглым тельцем и быстро, весело перекрестила Веру. Вере почудилось: Расстегай вышла из призрачного тела, и живой душой летает под потолком, и пляшет, и смеется от радости, что Вера едет в Иерусалим, и тело ее всего лишь сон, а душа – вот она, настоящая.

Собралась-то быстро, да надо было пенсии ждать; дождалась, а куда времечко от меня денется, все жестко шептала себе. Не думала, хватит, не хватит на билет до Челябинска: там дети лесосибирской тетки проживали, ее двоюродные братья и сестры. Два братца и сестра; их имена и фамилии были у Веры криво и старательно записаны в старой, будто кошками обцарапанной записной книжке. Мужики на букву «С», Соперниковы фамилия, баба на букву «К», Козлова. Рядом с фамилиями телефоны и адреса. Туманные мысли черными пчелами роились под черепом: дотрястись в вагоне до Челябинска и там у родни деньжат занять, чтобы дальше ехать. «Не дадут», – тоскливо думала Вера и пожимала плечами, будто стряхивала этой легкой судорогой налипающий чужой, обидный смех. «Сумасшедшей обзовут, издеваться начнут...» Мысли такие надо было ниткой обрывать, она и обрывала – как зубами с коклюшки Анна Власьевна нить скусывала.

Ни в коем случае нельзя было думать и о том, кто и как получит за нее, пока она ездит в Иерусалим, ее родную пенсию в стеклянном окошке на почте. Деньги будут наплывать, лежать, копиться; это ж все равно и не деньги никакие, а просто синие цифры, и отпечатываются на зеленых веселых страницах сберкнижки. Люди играют в цифры и промеряют ими жизнь, ее болотную глубину. Кому-то цифр не хватает, чтобы жизнь измерить; тогда люди кончают с собой, или болезнь борет их, валит и топчет. Около кассы на вокзале, где тоскливо и длинно гудят и поют поезда, Вера поняла: на билет до Челябинска хватило, и еще немного деньжат осталось. Она аккуратно положила сдачу и билет в паспорт и содрогнулась: на нее с паспортной страницы опять глянула злая умная сова, безбровая, круглоглазая.

Она стояла посреди вокзала, люди пчелами жужжали вокруг, но она их не видела и не слышала; стояла, как среди пустыни, и думала: закрыла она дверь на оба замка или только на один? До отправления поезда оставалось полчаса. Красной кровью мигало табло. Люди толкались около двери. Вера вышла на перрон. Слегка мело. Белое призрачное кружево обнимало Верины ноги в материных коротких сапожках. Снег налетал, набивался внутрь сапог, и даже толстые вязаные носки не спасали от сырого холода. Вера грела нос варежкой. Стояла в створке, пока все не сели в вагон. Проводница, малявка, строго поглядела на Веру снизу вверх, как сверху вниз.

– Ну и чо? Долго будем стоять? Или вы провожающая? Ждете кого?

– Никого, – железно ответила Вера.

Подошла, порылась в кармане и вытащила билет и паспорт. Протянула малявке.

Малявка долго изучала бумаги, сверяя тусклое фото с настоящим ликом Веры. Вернула документы.

– Ваше место тридцать восьмое. Боковое верхнее. Около туалета.

Вера медленно прошла в вагон, прошла его весь, насквозь, как трубу, гудящую и гремящую людьми и вещами, и перед самой стеклянной дверью встала, стащила с себя ранец и бросила его на верхнюю пустую полку.

Лежала. Молчала. Глаза уставлены в вагонный потолок.

Поезд трясет. Мотает. Веки наползают на зрачки, затягивают пеленой.

Человек с закрытыми глазами перестает видеть мир и становится тем, кем он был до рождения: зверем, листом, камнем. Иногда ветром. Не чувствует тела. Реет, веет, несется. Вихрится. Мысли теряют оболочку слов. Это прекраснее всего. Такова смерть на вкус, ее можно попробовать, раскусить, проглотить, как коньяк в застолье.

Глаза закрыты, и приходят звуки. Они не всегда складываются в слова. Живут вне слов, сами по себе. Хотя понятен их смысл. Смысл без мыслей – это чувство. Чувствуй, и ты спасешься. От чего? От кого?

Есть тот, кто тебя подстерегает. На тебя нападет.

Его не надо бояться.

Если боишься – зверь напрыгнет первым и задерет, говорили ей бывалые охотники.

Вера иной раз чувствовала себя в жизни зверем. А иной раз – ловцом. И редко – человеком. Как зверь, она нападала и убегала; как охотник, пряталась и стреляла. И редко – наблюдала. Она видела, как к ней подкрадывается ее старость. Старость невозможно было убить. Бесплезно было целиться. И двустволку свою она потеряла; и не помнила, когда. Может, когда, в слезах, подавала пить помирающей кружевнице из фаянсовой битой чашки горячее, цвета снега, молоко, с золотыми пятнами жира поверху.

Глаза закрыты. Поезд трясет. Тощее одеяло не греет. Куда ты едешь, Вера? Куда я еду? А Бог знает куда. И Бог знает зачем. Не нужно мне все это. Зря я все это затеяла. Да, зря, зря ты все это затеяла!

Тьма перед глазами. Такая вот тьма и за могилой, наверное. И кружевница лежит, и спит, и видит только тьму. И не видит она, как Вера едет в поезде незнамо куда. Значит, можно было никуда и не ехать. Никто бы ничего никогда уже не узнал. Что там узнаешь, в гробу, под землей? Кому все это надо, эта проклятая поездка?

Тьма мотается и вспыхивает под веками алым, желтым. Фонари за окном. Станция. Штор тут нет, есть только страшные кожаные шоры, их надо опустить на глаза лошадиного поезда, тогда он поскачет быстрее и не будет пугаться фонарных огней. Глаза приоткрываются. Открываются, две шкатулки со слезами. Распахиваются настежь, до отказа. Огни слепят, мелькают за окном. Состав тормозит, железные кости перестукивают, гремят. Стоп машина. Застыли вагоны. Зычный голос с перрона: стоянка пятнадцать минут! Что можно успеть за пятнадцать минут? Купить пирожок с ливером? Судорожно съесть на морозе? Запить нечем. Надо заказать у малявки чай или кофе. Тьма, я забыла взять с собою в путь воду в бутылке! Простую воду. Енисейскую, ледяную.

Лежи уже, дура. Не шевелись. Поезд постоит и пойдет. Побежит дальше. Ты закроешь глаза опять. Под черными веками поплывут изгибистые красные письма. Золотые знаки. Ты будешь пытаться их прочитать. Напрасно! Ты же не знаешь, кто их начертал. Тебе их показывают; зачем? Зря или не зря? Все зря. Нежная музыка звучит внутри тебя, это песня дороги. Ты трясешься в вагоне, лежа на верхней боковой, укрытая жестким тонким одеялом, и поешь по слогам, по кривым, изогнутым красным нотам песню своего пути. Когда-то письма оборвутся. И не прочтешь ни одной ноты. И не споешь больше ничего, так пой же сейчас!

Вера сама не замечала, как рот ее дрожит, а глотка выпекает смутные, нежные, хриплые звуки. Ее бессловесной песни не слышали попутчики: напротив нее, в плацкартном закутке, три мужика в солдатских гимнастерках резались в карты, на верхней полке скрючилась молоденькая девчонка: ее плечи и выгнутая колесом спина тряслись от рыданий, в такт вагонной тряске. Внизу, под Верой, бритый человек с колючим взором, зрачки как два острия вязальных спиц, добывал из котомки такое же лысое, как он сам, яйцо, вертел на столе, восхищенно шептал: «Крутое яичко, крутое! Как пить дать, не наврать, мать-перемать, крутое!» Людям не было дела до Веры. А Вере, выходило так, не было дела до людей. Люди сами по себе, Вера сама по себе. Никто ей не нужен. И она никому не нужна.

Так спокойнее.

Вера захотела по нужде и спустила ноги с полки. Ей было боязно прыгать вниз. Бритый дядька готовно подставил грубые заскорузлые руки. Он принял на них беспомощно падающую сверху Веру, как акушер младенца.

– Хо-хопечки, – воскликнул он довольно, – бабеночка! Держись на ножках, а то повалят!

Вера не хотела, а покраснела. Уселась за гладкий, поддельного мрамора, дорожный стол.

– А вы так и не спали? – спросила.

Бритый подмигнул.

– А с кем тут поспать? И поспать-то тут не с кем, жаль такая. Вот разве что с тобой!

Вера, на удивление легко, подхватила игру.

– Со мной не выйдет. Я колючая. Обранишься весь!

Встала, ушла, опять пришла. Села. Бросила руки, как вещи, на стол.

Бритый осторожно, на диво нежно коснулся шершавым пальцем Вериной руки, мертво лежащей на гладкости стола. Ее дернуло живым током. Она убрала руку.

– Врешь все, – тихо и хрипло бросил бритый. – Теплая ты и слабая. Только прикидываешься сильной. Как вы все, бабы.

Вера под столом гневно стиснула руку в кулак.

Хотела ответить. В затылок забил колокол: не трудись, не трудись. Все напрасно, никому ничего не докажешь. И не покажешь. В животе перекатывалась бульжниками тяжелая пустота, Вера не взяла с собой еды, а купить боялась: в поезде дорого, а выскочить на перрон – состав улепетнет, и поминай как звали.

– Жрать, бабенка, хошь? Только не ври!

– Хочу, – грустно сказала Вера.

Бритый шмякнул котому об стол. Развязал тесемки. Копченая колбаса. Куриные ноги торчат из фольги. Соленые помидоры в оббитой банке. Катал на ладони яйцо и хитро шурился на Веру.

– Что зыришь? Яички, да, яички! От самолучших курочек!

Протянул на ладони яйцо Вере.

– Ну? Что морду воротишь? Знаешь, где такие курки-яйки водятся? Хох-хо! На Ангаре, на Ангаре! А я-то оттудова домой еду, на Урал! В родные, эти, шпинаты! Отслужил как надо и вернусь!

Вера осторожно, как змею, взяла с ладони у бритого вареное яйцо.

– А вы... из армии... домой?

– Со щетиною седой?! – Бритый пощипал себя за скулу. – По возрасту не гожд! А на солдатака похожд! Нет, бабенка, не угадала! Я – из санатория!

– Из... санатория?..

Вера поздно, но сообразила. Густая краска залила ее лицо, губы сжались в злую и смущенную нитку.

– Да, лепилы надо мной потрудились! Поизмывались всласть! Да ты чисть, чисть яичко-то! Или руки-крюки?!

Выхватил из Вериных рук яйцо, ловко очистил и, голое, опять ей на ладони преподнес. Как ребенку; как царице.

И она взяла и ела.

И откусывала медленно, мелко, и жевала трудно, смущенно, не сводя с бритого дядьки глаз; и так сидели и ели они, и пили в тряском поезде – одинокая баба в белом, с красными розанами, платке с белыми длинными, как метель, кистями, и выпущенный на волю заключенный, перед глазами его еще моталась колючая проволока, колючие ветви железных пихт и елей; и поезд мотался, как пьяный, звенел на стыках колесами, чугунными погребушками, внезапно застывал, а потом опять срывался с места и мчал вперед, как бешеный, хотел догнать недостижимое, ускользающее время, настичуть его и убить, как охотник зверя, а время, смеясь,

хохоча во все зубы, железно и скользко все убегало вдаль, бежало, исчезало, показывая на миг снежное жало и тут же пряча его, манило, летело, ничего от людей не хотело, а люди все гнались за ним, пытались его изловить и связать, и покорить, и разделать, разрезать на куски, для всех голодных, его мощную слепую тушу, а оно все бежало, перебирало железными ногами, махало железными гигантскими крыльями, разевало железный клюв и издавало безумный клекот, – и страшно было человеку бежать за ним, а он все бежал, и тянул к времени рельсы, и запускал над ним самолеты, и взрывал перед ним бомбы и снаряды, а время все летело, ширия крылья, поверх всего человеческого, и непонятно было человеку, Ангела это крыла или дьявола: не видел он того, не понимал, не хотел, хватая ртом ледяной последний воздух, понимать.

Этот Ход мой, суровой Веры,
по великой и бедной стране.
Это Ход мой, сквозь ущелья и шхеры,
по отмели, по дну и на дне.
Что со мной приключится?
Сегодня ли, завтра – завяжи котому – лишь путь:
В глаза реки заглянуть, в колени земли башку уткнуть.

Все говорят, что ты сегодня – новье, ты, моя земля.
То жнивье, то былье, то белье улетает, метелью пыли.
А я все иду, вечная Вера, меня не подстрелишь
из-за угла,
Я в застольное царство людей
рыжей приبلудной собакой вошла.

Грохот поезда! Бритвой времени пользуйся,
а меня, бритый вор, не тронь:
Я сама себя раскрошу, направо-налево раздам, жадный хлебный
огонь,
И угли мои, головни мои уже, сгибаясь, плача, едят
из дрожащих рук;
А толпа пляшет, пьяна от песен горячих, и так близок Полярный
Круг.

Я иду по стране,
поджарая, тощая Вера, по худой песчаной земле.
Я иду в огне, по воде, где тучи полощутся,
то трезва как стеклышко, то навеселе.
Я все помню, я твержу сожженные буквы,
хлеб старухам дарю,
я традицию свято чту,
Я небесных прощальных ангелов четко зрю
сквозь кровавую линзу, за висельную версту.

Я иду, просто баба. А баба, ребята, се не человек!
Баба, это же просто курица-ряба,
слеза из-под мужицких век,

Я иду уж не меж людей, а над миром, над городом, над толпою, над
Жгучей памятью, над самой собою, над звездами,
что виноградом висят,

Красной – с виселиц! – винной ягодой!
над пургой, заметающей храм,
где стреляли – во злобе и ярости – в грудь —
так скоро забытым Царям!..
над железной повозкой, с красным крестом трясущейся то вперед,
а чаще – назад,
да над Приснодевою, сущюю
Богородицей – в смарагдах зрячих оклад...

Над зимней площадью, красной бешеной лошадыю,
над колпаками-бубнами скоморохов иных, певцов,
Над секирами, судьбами срубленными новых, страшных ликом
стрельцов,
И кричу им, шепчу им: милые! братья! слышите ли! люблю! —
А в ответ мне одно: за могилую... во успении... во хмелю...

А со всех сторон, в грудь и в спину, заполошно кричат: «Собака!
Уйди!»

Я иду. Я на ветру не простыну. Укроют, обнимут дожди.

И снега укутают. Песцовой этакой шубы
и не нашивал никто на земле.

И молитвы такой ничьи бедные губы
не твердили в алмазной мгле.

А куда я иду? За какую жалью-надобой,
там-вдали-за-рекою,
за небесной милостью, за

Край света, за ясной тоскою, за монетами – на глаза?

...это Ход мой, сиротский поход мой, одинокий, за гранью-
чертой —

Нежным знаменем, зрячим оком одинокой Веры святой.

Пока ехали до Челябинска, день, ночь и еще полдня, незаметно и страшно сдружились. Веру бритый узник, отпущенный на свободу, обаял и закружил – за ней никто и никогда так не ухаживал, не кормил ее не поил, не шутил ей и не пел ей, выбрасывая из хриплого горла путанные, через пень-колоду, как под хмельком, частушки, блатные песенки, прибаутки, – дядька соскучился по вниманью бабенки, а Вера смотрела в его шербатый рот, как в дырку скворешни – о, вот сейчас вылетит синяя, нежная птица сойка, наш северный павлин! А может, говорящий попугай! Зеленый волнистый озорник, и затрещит клювом! Проводница-малышка сердито косилась в их сторону, когда шла с веником подметать вагонный пол: старая кокетка и гололобый тюремный донжуан, ишь, нашли-таки друг дружку! Вера не сводила с бритого глаз. Она уже слушала его как учителя. Принимала на веру все, что он залиvisto брехал.

– А тут-то, ты вообрази, Верушка... – Он произносил «Верушка» как «ватрушка». – Ты только представь!.. иду и вдруг проваливаюсь, натурально, в яму! Волчья яма, отменно вырыта.

Глубко! И вот сижу на дне. Весь в грязи изгвазданный. Грязи наглотался, пока туда валился. В бога-душеньку! Я настила под ногой не увидел. Лапник настелили, поганцы. Да еще какой густой! Как у Ленина, блин, в мавзолее. Будто гроб, ямину елью застлали! И вот я... матерюсь нещадно! А что прикажешь делать? Орать? Ну, подойдет вохра, винтовку к плечу вскинет и в расход. А что со мной церемониться, хо-хошечки! Я ж в ямине! Я же волк! Волк... Мозгами, волк, ворочаю... И придумал. Услышу голосок поюнее, подзову! Ползет несмышлениш спасать – я его вниз утяну!

Умолкал. Хитро на Веру глядел.

Она содрогалась спиной. Знала, что сейчас услышит.

– И... что?

– И то! Свист услышал! Завопил! Мальчонка подбежал! Сын нашей кухарки. Он мамке резать хлеб пособлял. Годов десяти пацан. Я ему: ветку хватай, мне сюда опускай, тяни, я пока-рбаюсь! Пацан, дурень, лапник вниз спустил, я его на себя рванул, он в яму так и покатился! Я ржу-хохочу! Покатушечки! Он плачет! Ревет взახлеб! Трясется! Я его – крепко держу! Хотя бежать ему, бабенка ты дура, некуда!

– И что... ты с ним... сделал?..

– Как что?! Убил и схрустел, конечно!

Вера мотала головой.

Пыталась смеяться.

– Я тебе... не верю...

– Не верь! Не верь! Эх... ну не сожрал, нет, нетушки, хватит дрожмя дрожать. Я орал как резанный, народ подзывал, а пацан у меня вроде как в заложниках там валялся. Я ему ноги ремнем связал! Руки – рукавом рубахи, отодрал, в жгут сплел! Он меня костерит! Я – его! Так ругаемся! Ночью холод зверский, звездочки блещут! Жрать и правда охота! Думаю, и правда, хороший поросенок, да только огонь в ямине не развести! А то бы сожрал, вот ей-богу! День займется – я опять ну орать! И приперлись... эти. Вытащили нас... обоих... мы уж отощали совсем... с ног валились... пацаненок концы отдавал... уволокли его... в лазарет, так думаю... а в меня полстакана водки влили, я разум утерять... очухался – на койке лежу, и укол ставят... А до конца срока знаешь сколько мне было?.. не знаешь. И не надо тебе знать! Верушка ты глупая, как пробка!

Он так ласково вылеплял это губами, что Вера вся покрывалась стыдным потом.

Когда поезд докатил до Челябинска, бритый помог Вере надеть на спину ранец и подал ей руку, когда они выходили из вагона.

Зимний Челябинск мало чем отличался от зимнего Красноярска. Пожалуй, дымящих заводских труб было больше, и дышать было тяжелее. Они с бритым дядькой брели сквозь город медленно и тяжело, будто слоны, нагружены поклажей, и Вере ее школьный ранец казался неподъемным кованым сундуком. Быстро смеркалось, зажигались витрины магазинов, продуктовых лавок, универмагов, ресторанов, кафе, кинотеатров, близ театральных подъездов загорались торжественные старинные фонари, и все сильнее и острее пахло бензином, из приоткрытых дверей харчевен тянуло вкуснейшими яствами: жареной курицей, а может, тушенными в сметане грибами, а может, просто капустой в томатном соусе, с мелко накрошенным чесноком, с молотым красным и белым перцем. Вера нюхала вечерний зазывный воздух, и все труднее становилось его, плотный, вязкий и дымный, вдохнуть глубоко. Ловила воздух ртом, как рыба. Бритый покосился на нее. «У нас тут с непривычки все так вот дышат, как ты теперь. Ртом, и зенки выкатывают. Ничего, привыкнешь!» Вера робко улыбнулась ему. Все больше

робела она, все бесповоротней превращалась в забытую дуру-школьницу с ненужным ранцем за худыми плечами, за тощей хордой звенящего позвоночника.

Она сама не поняла, как так вышло, что она оказалась не дома у своих родичей, а в домишке у бритого: этаж под крышей, коммунальная кухня, бабки варят в кастрюльках нищую еду, чад и грохот, и бритый открыл дверь свою не ключом, а ногой, на кровати спали мальчишка с девчонкой, до затылка закутавшись в клетчатый дырявый плед; бритый сбросил на пол сначала юнца, потом девчонку, они по-кошачьи уползли на животах, на локтях за приоткрытую дверь. Бритый цапнул по стола початую пачку сигарет, закурил, подошел к окну и вытолкнул наружу створку фортки. Снег, вихрясь, забытым безумьем полетел в чадную комнату.

– Рассупонивайся, лошадка, – хриплый голос бритого опять мазнул по Вере забытым детским весельем. – Станция Березай, кому надо, вылезай. Прибыли.

Вера так и стояла, ранец не снимала, ремни давили на плечи, обрывками мыслей она пыталась поймать летающую над головой опасность. Опасность тихо села ей на лоб и касалась кожи нежными крыльями.

Бритый затянулся, вынул сигарету изо рта, держал двумя скрюченными пальцами на отлете, медленно подошел к Вере.

– Ну что? – Тихо спросил. – Мужика, что ль, никогда не видала, старая ты уже баба? Что зыришь? Если не нравлюсь, пнула бы давно, еще в вагоне. А то за мной потащилась, с нашим удовольствием. Спать с тобой буду. А как же. Мужик с бабой да не поспать. Чай, не нехристи мы! Все у нас, как у людей, устроено!

Махнул рукой, как медведь лапой, вниз.

– У нас все спереди!

Он медленно снял с нее детский ранец. Размотал платок с кистями и бросил в угол. Все больше девчонкой чуяла себя она. Речь потеряла, не нужна была речь. Села на койку, бритый присел на корточки и медленно стащил с Веры сапоги – один сапожок, второй. Стянул грубо-вязанные носки. Она медленно пошевелила застывшими пальцами.

Бритый погладил ее щиколотки в толстых коричневых чулках.

– Что ж ты, блин, моя лучинка, неясно горишь, – вышептал, как спел. – Что тебе надо-то в жизни?.. не пойму. Куда-то в путь пустилась. К родне какой-то непонятной, мать твою. Или еще куда? А не открываешь, куда. Молчишь! Падла! – Он сказал «падла» как «красавица моя». – И, главное, зачем. Не жилось тебе в Красноярске твоим? А? Вот со мной связалась. Зачем? Да, зачем? Затем, что ли, что я человек? Да? Человек я? Человек?! А может, я зверь?!

Вера молчала. Ноги ее холодели.

На лбу бритого, под отросшей за время пути седой щетиной, блестели капли пота, как мелкая чешуя детишек-карасей.

– Может, и зверь, – сам себе ответил и для верности даже сам себе кивнул. – Кто меня знает. Меня тут ведь уже забыли. Туда мне и дорога. А знаешь, за что сидел? Долго сидел. Угадай с трех раз. Угадаешь – конфетку дам. Живую, ха! Сладенькую, хо-хо! Не угадаешь...

– Нож под ребро? – тихо спросила Вера.

Хотелось шутливо, а вышло страшно.

Бритый зашелся в беззвучном смехе. Вытирал смешные слезы. Царапал наждаком ладоней щеки. Вера тоже заплакала. Он и ей щеки грязными ладонями вытер.

– Бабенка! Драная юбчонка! Парня я пришел. За дело. Ножонки-то задрогли. Щас согреться!

Он встал с корточек, подхватил из-за стола стул легко, как щепку, подошел к двери и воткнул ножку стула в старинную, выгнутую стеблем озерной лилии медную дверную ручку.

Он рассказывал, как спал наяву. Так во сне бормочут. Призрачный голос Бритого обволакивал Веру, и она постепенно и позорно засыпала, откидываясь на подушках, несвежих, с наволочками в кровавых и масляных пятнах, – шея ее закидывалась, хрящи гортани просвечивали сквозь натянутую кожу. Бритый продолжал говорить, хрипло и путано. Иногда его голос с силой вырывался из него, как птица из силков. Тогда Вера вздрагивала всем телом, как ребенок после рыданий, и на миг просыпалась. Во сне она намертво запоминала все, что он ей наборматывал – о лагере, о судьях, о гаденьше прокуроре, что накинул ему на шею длинный срок, о человеке, которого он убил; и как убивал, тоже говорил. Ему нужны были уши. Или хотя бы ямка в земле или дупло в дереве, чтобы исповедаться.

Вера впервые, после вязких лет бесконечного одиночества, легла с мужчиной. Она боялась, зубы ее стучали. Она все забыла, что и как надо. И что она должна испытать. Бритый оказался разным. То таким, то сяким. Он то приказывал Вере, то молился ей. Он изголодался, а она не чувствовала никакого голода, только боль и жалость – матери к больному младенцу. Вытирала ему простынкой лоб. Морщины бежали по этому живому лбу, как корни вырванных трав по вскопанной земле. Он говорил, как во сне, а она просыпалась и тесно, судорожно обнимала его. Он ощущал жар ее тощего твердого тела, впалого живота и торчащих ключиц и тоже обнимал ее, сильно притискивал к себе. Так замирали оба. И опять засыпали. И опять разнимались, обессиливали их руки. В щели незаклеенного окна дуло, северный ветер гудел в трубах, качал голые деревья, мело все жесточе, все яростнее, толстый слой снега ложился на мертвую землю и укрывал ее, крыши, карнизы, ветви, тротуары и их обоих, недвижно плывущих в продавленной узкой кровати.

Дни в Челябинске летели сном. Таким же, как их совместный сон на узкой кровати с панцирной звенящей сеткой. Сетка, прогибаясь под ними, издавала почти церковный звон. Тишина сменялась коммунальным застольем. Дом был старый, и люди в нем старые, только молодая пара – парень хилый, на ерша похожий, девка потолще, с тоской во взгляде, глядела так, как везомая на бойню скотина, – слонялась там и сям, сидела на кухне, локти уткнуты в грязную клеенку, перед подбородками пустая бутылка; пара моталась на лестничной клетке, безотрывно целуясь, а иногда доходя и до наглого непотребства. Жизнь тоже была старая. А город за окнами чужого дома был новый; Вера его не знала. И не хотела знать.

Фонари светили, свет горошинами скатывался по узким зондам зрачков прямо в душу. Вера днем готовила Бритому на общей кухне еду, ночами подставляла ему свое угловатое тело. И спрашивала себя: долго я еще тут проторчу? Надо вперед.

Где-то маячило, двигалось и шевелилось это изумленное «вперед». Она не знала, как сорваться с места. Сон длился, ночные разговоры текли и вязались в плотные веревки. Ее связали по запястьям и по щиколоткам, как того бедного пацанчика в волчьей яме. «Пойдем со мной!» – однажды сказала Вера Бритому. «Куда?» – спросил он и всунул в рот мятую сигарету. Они лежали на кровати, скатившись оба на дно железной лодки. Слепились, как свечи плывущим воском. Лодка качалась и баюкала их. Дым обволок Верину простоволосую голову. «В Иерусалим!» Верин голос не пресекался, не охрип. Бритый погладил ладонью голую свою голову. Сигарета мелко, мышинным хвостом, дрожала в углу его рта. «А это что за хрень?» – «Город». – «А, город! Ну и имечко у городка!» – «Уж какое есть». – «А ты туда, что ли, ехала? Ах да, туда. А я тебя, получается, спымал. Хо-хо!»

Молчали. Бритый курил. Искурил сигарету и затушил бычок об стену. Вера косыми глазами следила, как он кладет табачную ладонь себе на лицо и так лежит.

Звонить братьям и сестре? Рука зависала в воздухе, набирая номера. Голоса в трубке плыли и уплывали. Они тоже были частью уральского сна. Один мужской голос вяло, через пень-колоду, пригласил Веру в гости; другой жестко, грубо отрубил: «Нет у нас никакой такой родни, ни в Красноярске, нигде! прекратите нас шантажировать! и больше не звоните сюда!»

Женский голосок проворковал мило, музыкально. Вера ободрилась и вежливо сказала: «Это Марина? Вы дочка тети Славы? Здравствуйте, Марина, это ваша сестра Вера!» – «Пошла в задницу!» – сладким голоском ответила Марина, и Вера рухнула в пустоту.

Давно закончились остатки Вериной пенсии. Они тоже приснились. Еду приносил Бритый; Вера не спрашивала, откуда. Она его ни о чем не спрашивала. Слушала, что он говорит ей ночью. После того, как сомнет ее живым, большим тестом на кровати, под ржавый звон пружин.

Он зорко следил, чтобы Вера не убежала. Ему было с ней удобно, в самый раз. Вера и сама притерпелась. Уже стала забывать про Иерусалим. Он торчал внутри, в потрохах, невынутой занозой. Однажды Бритый закатил пирушку. Выгнал Веру на кухню, стряпать. Она приготовила солянку, холодец, жареную курицу с чесноком. В комнату, за круглый старый стол, набилась куча людей. Люди, люди! Гомонили, пели, пили, плевались, ругались скверно и страшно, и страшно плакали, утыкаясь лбами в жесткие плечи друг друга. Баб не было ни одной. Все сильнее пахло мужиками. Вера разрезала дрожащий, как жирная бабья ляжка, холодец острой финкой. Подцепляла вилкой и швыряла на битые тарелки. Губы ее, как обычно, были в нитку сжаты. Бритый забросил в рот кусок холодца, жевал и долго смотрел на Веру. На нее ли?

...Иерусалим, я забыла, что это, хрустальный дом, а может, дом на слом... Ие-ру-са-лим... сизый дым, дым...

Дверь приоткрылась. Вполз холодок. Вползла в щель нога-змея. В черной потертой туфельке, остроносой. За ногой вдвинулось в прогал бедро, черная юбка качнулась. Шаг внес в комнату тело. Бритый ловил глазами глаза вошедшей. Слишком бело, снежно мерцало ее лицо. Обычно щеки румянят. Эта – набелила. Или отморозила? Лицо повернулось вбок, Бритый глядел на него в профиль. Потом опять маска уставилась прямо в комнату: широко стоящие глаза новой бабы глядели на старый, половинкой шелкового лимона, абажур и не видели света.

Бритый чуть не присвистнул. Баба как две капли воды была похожа на Веру.

Он не знал, что за баба. Гости пригласили? Чья-то шмара? Не все ли равно. Он сделал жест: давай, не стой в дверях, шагай! Вилка из его кулака упала на стол. Тарелка зазвенела и треснула. Вера сидела прямо, не оборачиваясь. Будто боялась обернуться. Бритый чуть не крикнул ей: «Не вертись! Не смотри!»

Потер переносицу кулаком. Помял пальцами глаза. Баба в черном, копия Веры, не исчезла. Только тихо, медленно попятилась в коридорную тьму.

В стену застучали. Шумную компанию к порядку призывали.

– Что копытом колотите! – вскричал Бритый. Глаза его тонули в раскрытой черной дверной щели. Пьяный озноб танцевал по спине. – Спать им хочется, охо-хошечки!

Вера, твердо, железно глядя перед собой, на скатерть, где валялась вилка и лежал отбитый зуб фаянса, поднялась, глаз от яств, посуды и скатерти не отрывая. Уцепилась за спинку колченогого стула, будто падать собралась. Медленно развернулась живой баржей и выплыла вон из дымной бешеной комнаты. Лимонный абажур качнулся. Бритый сунулся вперед, хотел Веру остановить, но будто споткнулся и упал грудью на стол, подбородком в крупно, грубо накрошенный салат.

Вера сама не знала, зачем вышла. В голову ей вступила лютая боль, заплясала под черепом, торжествуя и бесясь впотьмах в просторном костяном зале – без мыслей, без огней. Она прошла по половицам и встала, как на льду, как на краю. Черная река ее сна неслась под ней, под ногами, мимо.

– Не пей больше, Верка... козленочком станешь...

Кто шепнул это? Она или кто другой?

Озиралась. Глаза еще не привыкли к темноте.

Вера, подняв руки ладонями вперед, сделала шаг, другой. Зеркало в коридоре? Спасибо соседям, что повесили.

Она стояла и смотрела на себя в зеркало. Только почему она в черном? Кто пошил ей этот ночной наряд? Погребальный, одно слово. Вера передернула плечами и пощипала себе плечи, обласкала ладонями рукава. В зеркале она не сделала этого. Просто стояла, и все. И смотрела сама на себя. Мимо них обеих, между их лиц вился белый дым. Вера будто ногами в снегу стояла. Только снег мерцал не белым, а черным. Как антрацит.

– Не пей... Верка...

Губы шевелились, а в зеркале ее губы молчали, стиснутые крепко.

Она выше подняла обе руки и прижала ладони к своему отражению. Живое тепло под ее руками сказало ей, что это зеркало повесили не соседи. Она оторвала руки. Будто пальцы стали – корни, и она вырвала их из теплой земли.

– Ты... кто такая?

Зеркало улыбнулось. Вера отразила ее улыбку.

Губы ее свела легкая, дикая судорога.

– А тебе какое дело?

– Никакое.

Вера шагнула назад.

«Бежать, и все!»

– Скрыться хочешь? А зачем?

– А зачем?

– Обезьяна!

– Это ты обезьяна!

Они препирались, будто торговались на рынке.

– Что ты повторяешь за мной! За собой повторяй!

Вера сжала кулаки.

– Слушайте, – она перешла на ненужное «вы», – дуйте отсюда.

– Зачем?

– Затем!

– Я в гости пришла!

Бросали слова резко, отчетливо, тихо. Чтобы никто не услышал.

Вера взялась обеими руками за голову. Наклонила лицо, мрачно глядела в пол. Ничего не видела. Тьма, и мусор, окурки шуршат под ногами. Рыбьи кости под подошвой хрустят.

– Ну и гостюй, гостюй!

– Ты тут тоже гостюй.

– Откуда знаешь?

– От верблюда! Уходи лучше ты!

– А не то?

Зеркало качнулось в сторону и начало падать. Вера рванулась было поддержать его, чтобы не разбилось на тысячу кусков. Не успела. Женщина выскользнула из-под ее рук, из-под жизни ее, как резкий зимний ветер. Вере почудилось дальнейшее пение сойки. Потом говорящий попугай провизжал: «Война! Война! Спасайся!» Раздался звон: это в приоткрытую дверь выбросили выпитую рюмку, и она нежно и отчаянно разбилась о кирпичную кладку старой стены, устлая половицу под Вериными ногами осколками детского льда.

– Я хочу уехать.

– Много хочешь, мало получишь!

Бритый показал Вере кукиш. Она с кукишем молча согласилась. «Значит, надо еще ждать», – сказала она себе. Ждала. Ее отражение больше не появлялось перед ней. Она поняла так: пить надо понемногу, а лучше вообще не пить, по-церковному это грех. Она вспомнила о том, что у нее в ранце, на самом дне, лежит таинственная книжка Евангелие, подаренное ей старушкой Расстегай. Она робела вынимать его перед Бритым, тем более читать из него. Да и шрифт она этот, старинный, с завитками, титлами, ятями и еще невесть какими хитрыми буквицами не очень-то разбирала; шрифт этот был ей как шифр, кто-то был на земле посвящен в него, она же нет, хотя слова навстречу ей попадались русские, и очень даже знакомые. Например, «блажени». «Это ведь блаженные!» – радостно догадывалась она. Или, к примеру, «юность твоя». Юность она и есть юность! Твоя, моя! Что тогда, что теперь! А тогда – это когда? Сто лет назад, тысячу?

И все же настал день, когда Вера, чуть Бритый исчез за дверью, быстро, будто мышь из мышеловки вынимала, вытащила Евангелие из ранца. Открыла, уставилась в исчерченные загадочными письменами ветхие листы. Пахло воском и церковью. Она подносила книгу к носу, нюхала. Вспомнила, как старушка Расстегай книгу целовала. Как икону! Запах превращал время в прах. Отовсюду, с потолка, из окна, с небес лился мед, мерцало, вспыхивая на губах, вино, рассыпалась радужная пчелиная перга. Слова обдавали сладостью ноздри и язык, и першило в горле. Вера читала быстрым шепотом:

– Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное. Блажени плачущии, яко тии утешатся. Блажени кротцыи, яко тии наследят землю... Блажени алчущии и жаждущии правды... яко тии насытятся!..

Насытятся... Она вспомнила, как жрут и пьют за столом друзья Бритого, уральские бандиты. Зачем она здесь? Ей жалко Бритого. Да, жалко! У него нет жены. Она хоть немного побыла ему женой. Да ей надо в дорогу. Алкать и жаждать правды? Зачем Бритому и его корешам правда? Они и без правды отлично проживут! Ограбят, убьют! И никаких вопросов! Душу ничто не мучит. Или мучит? Терзает?

– Блажени милостивии, яко тии помиловани будут... Блажени чистии сердцем... сердцем... яко тии Бога узрят. Блажени ми-ро-творцы, яко тии сынове Божии нарекутся. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное.

Дальше пошло труднее. Слова слипались в единый ком, катились мимо глаз, лишь маня яркими вспышками, и укатывались в неизбежность, в бессловесную тайну.

– Блажени есте, егда поносят вам, и иж... иж-де-нут, и рекут всяк зол глагол на вы лжущие, мене ради. Радуйтесь и веселитесь, яко... яко... мзда ваша многа на... небесах?... не-бесех...

Дверь стукнула, распахнулась во всю ширь, и вошел, колотя об пол сапогами, Бритый.

Вера вздрогнула и сделала движение – спрятать Евангелие под юбку, под колено; не успела. Бритый шагнул и выхватил книгу у нее из рук.

– Ух ты, ах ты, сбухты-барахты! – прохрипел он. От него пахло сивухой. – Книжечка церковная, букочки любовные! Загнать ее старьевщику – дорого даст! И еще кусок жизнешки проживем. А толку что старье мусолить! – Затолкал Евангелие за пазуху. – Мое будет теперь! Откуда у тебя, Верка ты фанерка? Соседки подарили? Чтоб за меня молилась, за грешки мои, так?!

Похлопал книжку по торчащей из куртки кожаной корке.

– Дорого дадут. Не сомневайся! Я недавно одного художника обчистил, много всего потырил у него: и камеру старинную, и кольцо с сапфиром... а может, пес его знает, с лазуритом... и иконку этой, как ее, Богородицы, и чайник золотой, и чайничек серебряный... ты, начальничек, ключик-чайничек, отпусти на волю!.. И, главное, книжищу, книжищу такую, не приподнять кирпич, толстенную, все вот такими же ятями... ять, мять, начирикано... Подлатался,

мать! И жили мы не тужили! Ты-то, шушара, как будто не догадываешься, на какие шиши ляжку тянем!

– Догадываюсь, – ровным голосом сказала Вера. И вдруг сделала радостное, восторженно-детское личико. – Дай книжку обратно! Ну дай, дай!

И протянула руку к ней, высунувшей кожаную старую, исцарапанную щеку из-под бандитской куртки.

Бритый попятился.

– Эге-гей, вор-воробей! Деньги не клюй, получишь плюй!

Положил ладонь на Евангелие.

– Отдай!

– Хренушки! Я его – хорошо загоню! Знатно! Какой тут год издания? А шут с ним! Сразу видать, что старье! У старьевщиков чем старше, тем моднее; они знаешь что покупают-продают?! Время! Время у них ценится. Не вещь, запомни, фефёла! Время! А время что, пощупать-понюхать можно? Да ни шиша подобного! Время, ты вот объясни, никто не объяснит, что оно такое, откуда оно...

Ушел и хлопнул дверью.

Ночью, когда Бритый, натешившись ею, сладко захрапел, Вера выпросталась из-под него, оделась быстро, быстрее солдата по тревоге в казарме, обвязала голову белым платком с розами и метельными кистями, ранец на спину взгромоздила уже в коридоре. Глаза ее шарили по темным непроглядным стенам – она искала то, живое зеркало. Зеркала не было больше. Его разбили. Разбило время. Или память. Обезьяну застрелили. На мясо пустили, а из шерсти ее связали кому-то жалкому, бездомному теплые носки.

Тут вдруг стукнуло ей сердце изнутри в ее железные ребра. Она подошла к вешалке в коридоре. Высоко над головой торчали серебряные крючки. Тихо спали, висели без шелеста и шороха, казенные временем старые плащи и грязные куртки вечно пьяных соседей. На одном крючке висела куртка Бритого. Вера ощупала ее, как человека. Нащупала твердое. За пазухой, под рваной подкладкой, лежало и спало Евангелие старушки Расстегай. Вера вытащила его и, дрожа, засунула в ранец, утолкала на самое дно.

Вера сбежала по лестнице, и ей чудилось: за ней бежит Бритый, орет: «Стой! Зарежу! Хо-хошечки!» – и она бежала еще быстрее, ноги мелькали, как спицы в колесе, на крыльце она все-таки споткнулась и растянулась ничком, во весь рост, и разбила скулу об острый каменный край ступени, и набирала в ладонь снега и прислоняла к разбитой щеке звонкий, звериный холод, ладонь пачкалась кровью, Вера зло смеялась и, волоча ушибленную ногу, шла вперед по ночным улицам, ранец за спиной, упрямо шла, обреченно, вольно. Все шире становились ее шаги. Все сильнее болела скула. Глаз заплывал. Никого не встречалось на улице. Пустота и зима. «Увидит кто – подумает, муж побил, от мужа сбежала». Ничего не маячило впереди, на эту ночь, чтобы угнездиться и переждать, кроме вокзала. Вера шла на вокзал пешком, через весь город, мучительно и нелепо вспоминая незнакомые улицы, шла наугад, наудачу, по нюху, по тусклым звездам в туманном ледяном небе. Когда вдали послышались гудки поездов, она прикрыла глаза тяжелыми веками, из-под их чугуна на разбитые щеки полилась горячая соленая влага, и собственные слезы Вере казались белой теплой кровью, что текла из слепых, будто выколотых глаз.

Вера потянула на себя увесистую дверь и вошла в полутьму, мрамор и огни. Лестницы двигались и шуршали. Алые цифры и буквы возникали из ничего. Пахло пирожками, и отчего-то фиалками. Щетка скребла, вычищая до зеркальной гладкости гранитные плиты, а человека близ щетки Вера не видела. Может, и правда ослепла? «А вдруг Бритый меня здесь догонит?»

Вот бы нынче уехать!» Денег – ни копейки. Вера всю ночь просидела на жесткой скамье, продрожала, вместо мыслей взад-вперед бегали пожарищные искры. Ближе к утру она попросила телефон у соседа по залу ожидания. Нажимала на бестолковые кнопки. Делать было нечего – она звонила сестре Марине.

– Марина? Марина! Ты слышишь меня?!

Она назвала далекую вредную сестру на «ты», и та вдруг трубку не бросила.

– Марина, помоги мне! Со мной тут плохо!

Через ветер и ночь до Веры донеслось безумное эхо:

– И ты мне помоги! Помоги!

Голос Марины хлестнул Веру правдивым отчаянием.

– Ты где?! Куда мне идти?! Я с вокзала! Железного!

– Как идти?! Пешком?!

– Ну да! У меня денег на проезд нет!

– Северное сияние, восемь! Это частный дом! Бери такси, я заплачу!

Вера опьянела от такой внезапной щедрости.

– Да, да! Да-да-да! Он украл у меня дочку! Нагло причем! О-о-о-о... Восемь лет дочушке моей! И он орал как резаное порося: ты никогда больше не увидишь ее! Никогда! Никогда-а-а-а...

Марина и Вера сидели на огромной, как танцевальный зал, роскошной кухне. Слишком чисто. Слишком блестит. Слишком весело играет радуга в слепящем хрустале рюмок. Крики человека среди этой чистоты казались потоками страшной грязи, липкой, яростно стекающей по мертвым стенам, по живым щекам. Бутылка початая – на столе, пустая – под столом. Темная, цвета темной крови. Такого вкусного вина Вера вроде бы не пила никогда. Нет, пила, только у Расстегайки, а еще на кладбище, когда мать хоронили, и звалось оно кагор, и Расстегай быстро, будто семечки из кулака голубям сыпала, рассыпала шаловливые слова: «Кагорчик, однако, сладенький, я батюшке бутылочку купила, и с молитвою, пусть моих всех помянет, а чо, я рыжая, чо ли, а другую себе вот припрятала! Грешница я великая!» И закатывала глазенки под изморщенный лоб, а Вера скорбно глядела на больничную мензурку – темный церковный кагор стоял в ней жидким турмалином, светился.

И тут, у Марины, так же сладко, томно пахло в хрустальных наперстках древнее южное вино.

– Ты пойми, пойми! Он меня ненавидит. И он меня лишил ребенка, чтобы мне сделать больно! Больно!

Вера морщилась. Помаленьку отпивала из рюмки храмовую сладость.

– Марин! Ну брось ты, а! Он ведь тоже любит свою дочь! И он просто похитил ее, чтобы... ну, чтобы она жила у него! А не у тебя! Потому что вы разошлись!.. да?.. разошлись?..

– Нет! Ничего мы не разошлись! – кричала Марина. Потные кудряшки облепляли ее розовое, толстое лицо. И нос ее нюхал воздух, как поросячий пяточок. А в глазах застыла каплями мороза пьяная, бешеная ртуть. – Пошел он в зад, сволочь, гад! Я все равно верну дочь себе! Хоть бы для этого пришлось мне его убить!

Дикое слово вырывалось, Марина пыталась затолкать, влить его обратно, внутрь, вместе с крупным жадным глотком вина. Цапнула из шкафа третью бутылку. Открыла – зубами, ножом. Хохотала беззвучно. Рюмки Марине было мало. Она нашарила чашку и перевернула над ней бутылку кверху дном. Темная струя забулькала бешено, чашка наполнилась вмиг, кагор пролился на стол и капал на пол. Пьяная Марина наклонилась и слизнула красную лужу языком.

– Кошмар ты лепечешь... Маринка...

– Ты! – Палец Марины выстреливал в Веру. – Что ты знаешь о кошмаре?! Да ты... домашняя ты кощенка, ты!.. псина ты у порога, псиной жила, Верка, псиной и помрешь... А я... я – живала! И с золота едала, и из серебра пивала! И сейчас – пью! – Марина обводила рукой вокруг себя. – Сама видишь! Я – не чета тебе!

Вера старалась не глядеть на блеск богатства, щедро рассыпанный по широте и высоте огромного, как пустынная пирамида, особняка.

– Ты – здесь... а он с девчонкой – где?

– А у него еще один домина! – гордо и яростно вопила Марина. – За городом, у дряни! Там его мать обитает! Свекровка моя! Чернобурка! Вся в жемчугах! От Сваровски! В алмазах от де Бирс, падла!

– Марин... это ж ее... личное дело... жемчуга...

– Они хотят мою белочку, котеночка моего вот так же наряжать, падлы! Превратить ее... в игрушку... в куклу!.. для богатых, для магнатов... Что ее ждет?! Верка, ты представляешь, что ее ждет?!

– А разве ты... не богата?..

Теперь Вера обводила рукой и глазами шикарный, алмазно-блесткий оком: сталь, стекла, хрусталь, позолоту.

– Я-а-а?! Ну да! Да! Да-да-да! Богата! Еще как богата! Жру это богатство, жру, жру, все никак не сожру! До скончания века хватит! Обожрись и сдохну от обжорства! Пошло оно, богатство это, в задницу!

– Маринка, – хрипела Вера и сама наливала себе в рюмку вина, и выбулькивали в хрусталь остатки, – ты похожа на свинью... Свинья – доброе животное... у нее даже кровь как у человека... я читала... А давай я тебе... ну!..

– Ну?! Что замолкла, как немтырь?!

Вера молчала и качалась из стороны в сторону. Она в первый раз в жизни была пьяной. Это было ново, странно, страшно и вызывало восторг, смешанный с последним ужасом: сейчас протрезвею, и все закончится – и застолье, и жизнь.

– Я тебе... дочку верну!..

– Как ты ее вернешь?!

– Я ее... у него – украду... ну, он украл, и я – украду... для тебя...

– Моя дочь не вещь!

– И я... Марин!.. я тоже... не вещь!.. Я... человек... и – украду...

Марина глядела на Веру круглыми, крошечными поросячьими глазками. Ее поросячий носик смешно шевелился: нюхал воздух вокруг Веры, пытался учуять, правду она говорит или врет.

– Украдешь?

– Ук... раду!

– Правда?

– Век, это самое... – Вера вспомнила, как божился Бритый. – Воли не видать!

– А ты что, мать, сидела?..

– Я?... я...

Вере нечего было ответить.

– У меня... отец сидел...

– А, да!.. точно. Товарищ Сургут!.. за колючкой помёр... А что ты за это... хочешь?.. А?..

Вера крепко, до белизны пальцев, сжимала в кулаке пустую рюмку.

– В смысле?..

– Ну да! В дурочку-то не играй! Что ты у меня за это попросишь?..

– За что?..

– Идиотка!.. за то, что ты мне дочку...

– Ах...

Вера наконец поняла.

– А ты мне... Марин!.. ты мне... денежек дай немного своих... ну, это... совсем немножко... хотя я понимаю, там надо множко... ты только не смейся... я знаю, будешь смеяться, ржать просто будешь... мне, это... в другую страну надо... в Иерусалим!.. добраться...

– Куда, куда?.. Громче говори! Губешки-то разлепляй!

Марина и правда не расслышала.

Вера медленно, по слогам выдавила из себя:

– В И-е... ру... са... лим!

– Черт! – выкрикнула Марина, помолчала немного и захохотала.

Она хохотала так громко, что звонко лопнул один стеклянный шарик на кухонной французской люстре.

– Что ты... ржешь как... конь?..

– В Иерусалим! – заходила в умалишенном смехе Марина. Тряслись на щеках кудряшки. – На Святую Землю! Вон оно что! Так далеко! И что тебе приспичило?! Что ты-то там забыла?! А загранпаспорт у тебя есть? А деньги на билет? Нет?! И что, я теперь твой кошелек?! Ишь ты! Все так просто решила! И меня не спросила! Ты что, меня вот так вдруг на улице нашла?!.. ночью, на тротуаре... и подобрала, и раскрыла... а там... пара-тройка тысяч баксов!.. а то и десятка!.. аккуратно до Иерусалима хватит... и чтобы там помотаться... всласть пошиковать... А-ха-ха-ха-ха!.. ах...

Обиженная Вера встала, чтобы выйти из кухни. И тяжело, смешно упала около стула. Свалилась как сноп. Марина хотела встать, не смогла, смеялась еще сильнее, залиvistее.

– Ах!.. ха-ха-ха... Верка! я ж подняться не могу... ноги отяжелели... и вроде винцо чепуховое... это мы слабачки... и вроде три бутылки – это слону дробина в левое ухо... а вот поди ж ты!.. не смогаю...

Откинулась на спинку стула, продолжая улыбаться, и громко запела, и посуда зазвенела на столе и за стеклянными створками шкафа:

– Дура я, дура я, дура я проклятая! У него четыре дуры, а я дура пятая!

Сговорились. Ударили по рукам. Вера чувствовала себя молодой хулиганкой. Похитить ребенка! «Но ведь у нее тоже украли. А она мать. Она больше прав имеет», – бормотанье мыслей пыталось, сгорая во мраке безмыслия, оправдать то, что ждало впереди. Они все сами придумали и продумали. И как Вере переодеться нищенкой, и сесть у крыльца, и дожидаться, пока отец с дочкой выйдут на прогулку, и протянуть руку за милостыней, и потом будто в обморок покатиться, и, пока отец будет ковыряться в телефоне, вызывая врачей, внезапно воскреснуть, подхватить девчонку на руки и побежать, а за углом – машина ждет; да, все было продумано до мелочей, и даже настоящий пистолет в руке у Марины, отстреливаться, и даже настоящие патроны в нем; но все вышло иначе. В жизни всегда все получается иначе.

Перед похищением Марина пила не коньяк, не кагор – сердечные капли. Высоко взбила волосы, накрасила ногти. Настоящий пистолет, тяжелый, оттягивал сумку от Гуччи. Они обе домчались к дому Мариной свекрови за пять минут. На солнце уже снег таял, обнажалась земля. Густой дым валил из труб ближних заводов. Каменная грудь, железный скелет. Город глядел в живое небо мертвыми глазами. Марина то и дело щелкала замком сумки и ощупывала мертвый сгусток смертоносного железа. Ее рука тепло обнимала железную гибель. «Ну же, иди!» – закричала она на Веру, будто Вера была шкодливой школьницей. Вера, одетая в бедняцкое потрепанное платьишко, вздрогнула и торопливо распахнула дверцу громад-

ного «джипа». Марина подгадала верно. Мужчина и девочка вышли из двери вскоре; девочка, с двумя толстенькими косками по бокам широкоскулого румяного, как у матрешки, лица весело помахала рукой седовласой старухе в дверях. Старуха клюнула воздух гордым носом-крючком и исчезла. Перед глазами Веры пронеслась призрачная черная птица. Вера рухнула на колени, сложила руку черпачком и заблажила: «Подайте бедненькой, подайте несчастной!» У нее получилось правдиво. Мужчина, в красивой кожаной куртке с песцовым воротником, остановился, пошарил в кармане. «Черт, черт, налички никакой с собой, одни карты, доченька, у тебя какая копеечка в кармане есть?»

Девочка тряхнула косками, они запрыгали по плечам. Вынула из кармана сто рублей. «Есть, папа!» Вера стала падать на землю; упала на бок, скрючилась, чтобы удобнее было вско-чить. Мужчина рванул на шее шарф. Сморщил нос. «Фу, да она больная! От нее воняет! Бом-жиха! Дочь, не подходи, у нее вши!» Девочка сунулась к Вере. Вера слишком рано схватила ее за руку. Слишком рано ожила. Богач не добыл из кармана никакой телефон, не стал вызы-вать никакую «скорую». Вера подхватила девчонку под мышки, она завизжала, Вера в ужасе пустилась бежать, волоча девчонку за собой. Мужик нагнал их в два счета. Вера зажмурилась. Она поняла: сейчас ее ударят по голове, сильно, кулаком. И мира больше не будет. На время или навсегда, неизвестно. Навстречу им уже неслась на всех парах бешеная кудрявая Марина. Она держала на вытянутой руке пистолет, сделала два выстрела: один, второй. Первый – мимо, вторая пуля попала мужику в руку. Третий выстрел он не дал ей сделать. Ловкая подножка, и кудрявая баба с харей хрюшки падает навзничь на снег. Мужик выхватывает оружие из ее руки и стреляет, стреляет, стреляет ей в лицо. Пока не расстрелял всю обойму. Лицо бабе расквасил в красный кисель. Нажимал, бестолково и зло нажимал курок, а пули уже не выле-тали из горячего ствола. Вера стояла и смотрела, крепко прижав к себе девчонку. Ощущала, как мелко дрожит маленькое живое существо. Девочка подняла лицо, и Вера увидела ее глаза. Вера снова заглянула в зеркало. Нежное зеркало! Человек глядится в человека, и зачем тогда плакать о том, что ты на свете одинок? Ведь все лишь отраженья друг друга. Все повторяют друг друга, перетекают друг в друга, как реки, и нет ничего единственного, все всеобщее, все повторяется, все навязло в зубах, все давно выучено наизусть.

Она оттолкнула от себя девочку. Надо было бежать, а ватные ноги не слушались. Поодаль стояла машина. Вера никакую машину водить не умела; она умела только молчать и бояться. И еще ухаживать за людьми, когда они болеют. Мужик перевел взгляд на красное месиво, что застывало на асфальте вместо пухленького поросычьего личика Марины, и вдруг, как Вера давеча, упал перед убитой на колени. Пистолет медленно выпал из его руки и воткнулся в снег. Торчал из снега черной костью. Вера пятилась, она уходила, неужели уходила, она себе не верила, но шла, шла сначала задом, потом чуть не упала и отвернулась от людей, от плачу-щей навзрыд девчонки и застывшего в ужасе мужика: ей повезло, ей подфартило необычайно, ее отпускали, ей давали свободу, на миг, на час или навсегда, это уже было неважно, ей молча говорили: уйди! убеги! спасайся! – а она будто не хотела спастись, все медлила, и тоже стояла в снегу и смотрела, и сугроб возвышался перед ней, как мраморный пьедестал, и сама она была памятник, до ушей закутанный в белую простыню последнего страха.

Наконец ее ноги налились жизнью. Задвигались сами. Она пошла, спиной ощущая: смерть отвернулась от нее. Кто бережет ее? Кто позволил ей жить? Кто были эти люди, у кото-рых она на время побыла слугой, помощницей, лгуньей, любовью? Зачем она сунулась им под ноги? Кто ее об этом просил? Кто ей это запрещал? А она все равно... все равно...

«Все равно это я, я одна», – повторяла себе Вера бессмысленно и беспощадно, медленно уходя от места смерти, вновь увиденной в жизни ею, еле ноги волоча. Она сама себе напоми-нала стебель, выдернутый из земли с корнями. Потом ей привиделось: она перевернута, и ее корни, ноги, глубоко и радостно врастают в небо. И она их вырывает из неба и идет по небу, ощупывая руками синее сиянье. И облака снегом сверкают, белые горы.

Вера пешком дошла до особняка Марины. Ключа у нее не было: кто бы ей его дал! Она обошла вокруг дома, глядя невидящими глазами. Перед ней мелькнул маленький деревянный, будто кукольный, весело раскрашенный домик. Поздно она сообразила: собачья будка. А где собака? Вера наклонилась и тихо свистнула. Из будки выполз огромный лохматый пес. На морде пса светилось собачье добро. Он облизал Вере руки, потом встал на задние лапы и излизал ей все лицо – губы, нос, щеки. Вера заплакала и упала в снег рядом с собакой. Обняла пса и уткнулась мокрым лицом ему в шерсть. Ей надо было выплакаться. Слезы вывернули ее наизнанку, и она будто родилась вновь.

Живая, она умылась снегом. Солнце закатывалось. Она легла животом на снег и заползла в будку, с трудом протиснулась. Пес прополз за ней. Он понял: он ей нужен. Вера крепко обняла собаку, как человека. Оба, зверь и человек, уснули в маленькой дощатой избенке. Ни о чем не думая. Ни о чем не жалея. Вера вскрикивала во сне. Пес подставлял ей теплый мохнатый бок. Вере в дреме казалось: она обнимает медведя. К утру у нее замерзли ноги, а грудь и живот сделались горячими, как печка. Пес слегка подвывал и дергал лапами. Ему снились сны.

Наутро Вера отважилась и выставила оконную раму. Залезла в дом. Осторожно, будто умный грабитель, поджав тонкие губы, шла по дому, рассматривая дивную мебель, богатые статуэтки и расписные вазы, удивительную, в виде морских ракушек, посуду за хрупкими стеклами. Она не хотела шарить по шкафам, искать обещанные Мариной деньги на дорогу. Она искала свой ранец. Нашла. Встряхнула: тяжеленький, вещи на месте, книга на месте. Нет, все-таки открыла, чтобы удостовериться. Запустила руку под белье. Под кружева покойной Анны Власьевны. Евангелие мирно лежало на дне ранца. Оно спало.

Она шла по городу Челябинску, и каменные дома наваливались на нее вечным холодом. Каменные гробы, каменные кресты. Она не боялась, что встретит на улице Бритого; не боялась, что ее найдет полиция и посадит за решетку за то, что пособляла убийце. Кто кого убил? И за что? В голове у нее гудело, будто она сама была поезд и издавала долгий, протяжный гудок, говорящий о бесконечной дороге и бесконечной тоске.

Ей надо было раздобыть денег, чтобы двигаться дальше. Она уже не мечтала о неведомом Иерусалиме. Только знала: надо ехать вперед, а если нельзя ехать, так хоть идти.

Так шла и вспомнила: была у матери подружка Лиза, да, точно, Лиза Матренина. Она жила вроде бы в Казани. Так и есть, в Казани! Вот бы до Казани добраться. А Казань, это где? Она об этом спрашивала себя, а себя бесполезно было спрашивать. Вся земля для Веры была на одно лицо. И мамкина подруженька Лизавета Матренина, может, давно уж отдала Богу душу. Богу? Душу? Зачем Ему чья-то душа? Он что, собирает их в лукошко? А потом варит из них варенье?

Вера вспомнила детство, и длинноносую Лизу, ее мать так смешно называла иной раз: «товарищ Матренина», и как Лиза приходила к ним в праздник Седьмое ноября, помогать лепить пельмени, великое, редкое блюдо, и тереть на терке морковь и свеклу, и строгать мороженую рыбу хариуса, и то, как Лизины руки, в бородавках, а Лиза все смеялась: «Лягушек ребенком убивала, вот Бог и наказал!..» – пахли странно и томяще, точно так, как сизый дым

из железного золоченого крупного яйца в церкви, им всегда священник машет, когда поет, и все пьянящий дух вдыхают, и мощная цепь звенит.

Опять вокзал, и гранитные плиты под ногами, и эти гудки, они прокалывают уши. Жизни нет без дороги, а Вера слишком долго прожила на одном месте, и вот теперь идет, все вперед и вперед, и этот Ход Веры по земле казался ей самой гигантским серебряным коромыслом, слепленным из снега, льда и мерзлого асфальта, и на крюке коромысла висела она, как порожнее ведро, и кто-то Сильный, Мощный должен был наклониться над близким, непроглядно-черным колодцем и ею, Верой, зачерпнуть из черноты чистой светлой воды.

Так и видела перед собой глаза ребенка близ убитой матери.

И глядела ее, детскими, глазами.

Глядела на все вокруг, и все узнавала – и когда стояла перед очередью в кассу и просила подлинную милостыню: «Помогите, родные, мне до Казани надо добраться, а денег на билет нет!» – и когда ее грубо, кулаком в грудь, отталкивали: «Пошла прочь, побирушка!» – и когда малый мальчонка, годов семи, а может, восьми, в закрашенных известью круглых очках с проволочными дужками, вставал рядом с ней, за ее спиной, сдергивал с затылка кепку, протягивал людям и заводил гундосо, заунывно: «Друзья, друзья, я ничего не вижу, белый свет душой я ненавижу! Подходите, пожалейте, сироту меня согрейте, посмотрите – ноги мои босы!...» – и когда мимо нее шла красавица, и падал на плечи красавицы шелковый богатый платок, и совала красавица Вере в руку красивые, расписные бумажные деньги и морщила, будто в смехе, нос, и говорила капризно, тонко и нежно: «На, держи, езжай куда хочешь!...» – и губы и зубы ее смеялись, а из глаз ее, ярких и синих, как уральское небо, текли мелкие, жалкие, птичьи слезы.

Все узнавала Вера, сначала глядя непонимающе, потом с болью, ярко вспоминая – и культы молодых парней, и седые космы безногих, на тележках-каталках, стариков, и животсугроб брюхатой проводницы, что все сдвигала набекрень форменный берет, подбитый мехом, и кричала на курящих: «Нельзя, нельзя! В тамбур, в тамбур выметайтесь!» – и сияющую, драгоценную зимнюю радугу над Уралом, когда поезд стучал ледяными колесами по серебряным длинным чехоням рельсов, и реки подо льдом, до времени спящие, с тайными кладами рыбы, с россыпями мальков, раков и раковин внутри, в застылой, жидко-ртутной толще. Она ехала, сходила на землю на чужих вокзалах, снова влезала в поезд, боясь навек отстать от него, и ее подсаживали, и ей подавали руку, и на ее глазах люди били людей по щекам – и обнимали, лаская, в слезах; люди убивали людей – и люди вставали перед людьми на колени, прощенья прося; на ее глазах люди обманывали друг друга и обманывали ее, и исчезали, торжествуя, и, убегая, показывали ей зубы, открыто и нагло над ней насмехаясь; и тут же, рядом, люди совали ей в руку хлеба кусок, совали кольцо с ярким крупным камнем: «Продай и поешь себе купи, и билет куда хочешь купи, может, где другое счастье найдешь!» Ее мазали грязью – а за углом, чуть отойти, выливали на нее ушат чистой ключевой воды, и обмывали ее, и обтирали ее, и шептали ей на ухо: «Ты так устала, отдохни у нас, вот вымылась, сейчас поешь, а мы постелем тебе вон там, на печи, на печь-то взберешься?» Вера наклоняла голову, не в силах говорить. Ночевала у добрых людей, и снова в путь. В адресном столе Казани ей сказали, что Елизавета Порфирьевна Матронева живет сейчас в селе Верхний Услон. «Это на Волге, матушка. Не сильно далеко. Быстро доедешь. Вот улица, дом! Найдешь!» Ей протянули бумажку, там аккуратно был написан адрес Лизы.

Из Казани до Верхнего Услона Вера шла пешком.

Иногда ее подсаживали к себе шоферы. Она все крепче сжимала рот, ни о чем с шоферами не говорила. Они не посягали на Верину честь: баба казалась им старой, скучной и слишком твердой, боялись зубы обломать.

В сельмаге не на что было Вере купить Лизе подарок, хоть какой гостинец. «Я сама гостинец», – усмехнулась она сама себе и вышагивала твердо, жестко. Юбка развевалась по ветру,

облепляла ее жесткие, кочергами, ноги. Шурясь, читала названия улиц. Дул ветер с Волги. Вера видела Волгу отовсюду – и справа, и слева, и сбоку. Красота реки сбивала ее с ног. Ветер выдувал у нее изнутри всю боль, и прошлую и будущую. Около маленькой избы, вросшей в землю, Вера остановилась, сверилась с бумажкой: да, это здесь.

Калитка визгнула под рукой. Вера быстро прошла по тропке до крыльца, ветер взывал ее юбку, рвал. Одной рукой юбку придержала, другой громко, звонко постучала в окно.

– Эй! Есть кто дома?

Прошло время. Вера ждала. Возник звук, перешел в мышиное шуршанье.

Дверь приотворилась. Лисий длинный нос высунулся. Подбородок, обтянутый сморщенной коричневой кожей, задрожал.

– Ихто тут?

– Лиза! – воскликнула Вера. – Лиза, здравствуй! Это Вера Сургут! Дашина дочка! Ну, Дарьи Сургут дочка! Из Красноярска!

– Не знам никакой я Даши! И мышей у мене нетути, морить не надоть! У мене кот живет, знатнай! Усех мышей пожрал, как волк овец!

«Зачем я сюда приволоклась», – думала Вера, умоляюще прижимала ладони к груди.

Лиза сжалилась.

– Ну, взойди. Взойди! Не маячь у крыльца! Сургут, вишь ты! А ежели врешь ты все?!

И тут Вера взяла и перекрестилась. Широко, размашисто.

– Не вру, Лиза! Вот те крест! Я Вера Сургут!

И еще перекрестилась, и еще, для верности. Три раза.

Дверь распахнулась широко, створка ударила в стену.

Перед Верой стояла горбатая старуха, пугало огородное, ноги в дырявых валенках, кофта из развеселого цветастого ситца, как на сенокос собралась, кончик носа касается змеиной изогнутой губы, на лбу очки, толстые стекла грязны, мутны, впалые щеки исчерчены безжалостным резцом мертвых годов.

– Порог переступи!

И Вера переступила порог.

Вере показывали все то, чего у нее не было никогда.

За ней ухаживали; ей топили баню, величиною с собачью будку; терли ей спину мочалкой, подавали кипятку в камеленку; ей пекли пироги с капустой и пироги с малиновым вареньем, ей постлали свежее белье, и простыни пахли полынью, ей даже расчесывали мокрые, после баньки, волосы старинным железным лошадиным гребнем. Вера оказалась в древнем убитом времени, а вернее, вне времени; она вышла из времени вон, в чистую любовь, вошла внутрь простых вещей – в чашку горячего крепкого чаю, в блюдце, на него надо было наливать чай и дуть, остужая, – в запах хлеба и пирогов из русской печи, и слушала Вера внимательно, как на ночь старая Лиза читает из толстой мудреной книжки, – может быть, это было Евангелие, такое, как у нее в ранце, а может, что другое. Она слушала и заслушивалась. «К Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся во век, ниже да посмеют ми ся врази мои, ибо вси терпящии Тя не постыдятся. Да постыдятся беззаконнующии вотще. Пути Твоя, Господи, скажи ми, и стезям Твоим научи мя. Настави мя на истину Твою, и научи мя, яко Ты еси Бог Спас мой, и Тебе терпех весь день», – хрипло читала Лиза, держа на коленях громадную книгу, спящую кошку, откашливалась и тяжело дышала, как конь на пашне, и невольно Верин рот повторял за ней: «И Тебе терпех весь день!» Какой день, а может, век?

Старуха Лиза слюнула палец и с трудом, будто камень ворочала, перелистывала страницу, вытирала скрюченную руку о веселый ситец складчатой юбки, метущей дожелта выскоб-

ленный пол. «Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя, и неведения моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты, ради благодати Твоея, Господи! Благ и прав Господь, сего ради законоположит согрешающим на пути. Наставит кроткия на суд... да ты слушаешь ли, Верка?.. да?.. научит кроткия путем Своим!..». Вера кивала, будто одобряла Лизино чтение, и следила, как тянется все ближе к половине серебряная еловая шишечка старинных ходиков. Со стены на обеих женщин тихо глядели из овальных и квадратных рамок желтые, карие снимки: всех Лизиных детей убили на дальней, забытой войне. Только Лиза войну не забыла. И о сыновьях своих и единственной дочке Машеньке всю жизнь молилась. «Так вот и молюся всю жизнь, Верка, и никуда мене от молитвы-ти не рыпнуться, и чту Псалтырь. Чти и ты Псалтырь! сие есть слово Божие, изреченное батюшкой нашим царем Давыдем! Да вы вси бесчестны людишки современны. Вси путие Господни милость и истина, взыскающим завета Его, и свидения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, много бо есть!»

Псалтырь, это было для Веры новое странное слово. Она запомнила его: уж очень чудно звучало. Будто кто ударяет по струнам – гитары ли, гуслей, а может, арфы. Когда Лиза засыпала, Вера подходила к столу и тихо, чтобы не разбудить старуху, листала толстенную, тяжелую книгу. На первой странице мерцала гравюра. Оттиснута двумя красками – черной и красной. Царь, в короне, сидел на троне, одна рука протянута в сторону, и в ней крупный, будто елочный, шар лежит; в другой руке зажато перо. А у ног его музыкальный инструмент. Вроде арфы: натянуты струны, гриф изогнут лебедино. Черная арфа молчит, алая корона на лбу сияет. И опять, опять эти витиеватые, безумные буквы! Вьются, текут, завиваются хмелем, перевиваются струями ручья. Поют! Их не читать надо, а петь. Как это сегодня баба Лиза читала? «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омой мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною есть выну...»

Не читала, а пела...

Вера сама не замечала, как огненно впечатывались, вжигались в нее странными, светлославными клеймами эти неведомые слова, никогда ею не слышимые; незримыми пчелами роились вокруг, жалили, и больно было и хорошо. И жар по душе разливался.

И телом весело становилась немая душа.

Перед староверской иконой Богородицы Казанской, перед еще более древней иконкой Параскевы Пятницы горели Лизины цветные лампы: перед Божией Матерью красная, перед Параскевой – зеленая, цвета яркой весенней травы.

Лампы мстились Вере горящими буквами, словно они спрыгнули со страниц Псалтыри и загорелись сами в темном, зимне-сумеречном воздухе избы. О чем они говорили, шептали? Пели? Старуха Лиза читала, как пела, и Вера, сидя за столом и положив на стол чистые, розовые после бани руки, тихонько раскачивалась из стороны в сторону и неслышно пела псалмы и кафизмы вместе с ней.

Лиза спрашивала ее о жизни в Красноярске. Вера отвечала жестко, скупно: «Ничего, хорошо жила». – «А какова беса в путь пустилась?» – «Не беса, а... – Перед Верой распахнулись нежные синие небеса. – А Бога, лучше скажи. Меня подруга попросила в Иерусалим за нее сходить». – «За ее? Как это, за ее?» – «Померла она». Лиза троекратно перекрестилась и с чувством вымолвила: «Царствие Небесное рабе Божией... как бишь ее?.. Анна?.. Анне. И вечная память».

Вера сидела застыло. Вечная память? А кто будет помнить о ней, когда она умрет? Кто по ней заплачет?

Время катилось тряским колесом старой забытой телеги.

...век, а может, день, а может, тень.

...дня не будет, и ночи не будет, и времени не будет...

...и небеса совьются в свиток...

...в какой еще свиток, ты спятила...

Настал день, когда Вера униженно, кляня себя за смущение, попросила у Лизы денег займы. На дорогу. От Казани до Москвы. Я отдам, я занят, на время, я без обмана, бормотала Вера, а Лиза презрительно махала высохшей рукой: «Да ни в жись не отдашь, расскажи все это! вильнешь хвостом, и поминай как звали!» Потом вздыхала глубоко: «Я-то стара перешница, зачем мне монеты эти, бумажонки. В гроб с собой не возьму». Подошла к палехской шкатулке, что стояла на старинном телевизоре – огромная линза, полная мутной воды, закрывала, увеличивая, крохотный болотный экран, – повернула изящный, как из сказки, ключик. «Верк, тут у мене пеньсия скоплена, на похороны! Так я тебе из ее дам! Много, пойми, не дам! Не обесудь, матушка!» В сухих птичьих лапках шуршали бумаги, испещренные пятнами и цифрами. Лиза протянула деньги Вере, сморщила лицо и заплакала, и беззубый рот ее растянулся в плаче, будто в улыбке.

Вере было жаль уезжать от Лизы. Они сроднились сильно и быстро. Вера понимала: уедет, а возвращения не будет. И жизни Лизиной не будет. На прощанье Вера обняла Лизу крепко, крепко, и смутно, жарко, торопливо выдохнула ей в сморщенное печеным яблоком ухо, под серебряную метельную прядку: «Прощай, товарищ Матренина».

Гуляла по Казани. Добралась до Кремля. Белокаменные башни напоминали ей толстых баб в белых поневах, стояли крепко, ноги расставив крашенные, кирпичные, и руки в боки. Перед кремлевской стеной горделиво застыл громадный железный павлин, хвост у него настелен по земле из елового темного, изумрудного лапника. Сам стальной, хвост живой. Павлин должен был напоминать о немислимой роскоши ханов, что сотни лет назад обитали тут. Башня царевны Сююмбеки кренилась, падала набок. В небе плыли теплые облака. Снег таял стремительно и озорно, превращаясь в бормотливую воду. Вера, стоя у бордюра тротуара, зачарованно глядела на бурливый водяной бег, на ноздреватый грязный хлеб оседающих сугробов. Еще одна зима миновала. Весна налетала быстро и властно. Вера у всех спрашивала время. Часов у нее не было с собой. Отродясь наручных часиков не нашивала. Ей отвечали, и все по-разному. Она заволновалась, слишком рано пришла на вокзал. Сидела в зале ожидания. В жизни всегда надо чего-то ждать. Все ждут, ждет и она.

«Ие-ру-са-лим», – шевелились упрямые губы. Объявили посадку.

Весь путь до Москвы Вера просмотрела в окно. Она там видела землю. В темноте – свет. Фонари, рекламу, дрожащие во мраке неоновые яркие трубки. При солнце – снег, грязь и камни. Дома. Людей. Люди шли мимо. Они не видели ее, свечой горящую в холодном окне. Иногда в стекле она видела себя. Зеркало пугало ее. Она не хотела заглядывать в свое отражение. Хотела быть свободной, и от самой себя тоже. Это было глупое желание: она зависела от всего – от денег, от голодного желудка, от зла и добра встреченных на пути людей, но выше всего она зависела от времени, и, хоть немало лет жила она уже на свете, ей все-таки было не понять, из чего время состоит и отчего оно движется. Так же, как непонятно, нелепо движется человек.

«Если оно движется и живет, как мы, значит, оно и умирает, как мы», – мысли текли, а пальцы звенели ложечкой в вагонном стакане, размешивали ненужный снеговой сахар.

Казанский вокзал в Москве бросился ей в лицо гономом и раскосыми лицами, родная Азия наплыла на нее и закружила в песчаном раскосом хороводе, бежали сломя голову девчонки в кожаных островерхих шапках с меховой оторочкой, волокли тюки толстопузые дядьки в полосатых халатах; еще лежал снег, а внутри вокзала плыл маревом зной, и узоры под потолком кричали о давно забытой, алмазной и кровавой ханской власти, а может, о красоте, тоже

забытой в погоне за жратвой и жильем, – красная лепнина выгибалась, мраморные дамские пальчики шевелились и манили, безмолвно соблазняя, совращая тайной легендой. Быль это боль! Все, что было с тобой, все равно ты забудешь. Как и этот день, и день вчерашний. Ноги ступают по земле, а какая разница? Точно так же они ступали бы по облакам, дай им волю.

Вера шла по вокзалу, выходила из него вон, на воздух, на широкую площадь, и вопросы кипели у нее на сжатых в нитку губах: где старая Россия? кто ее помнит? где тот СССР, в котором жили ее отец и мать, ее бедный отец Емельян Сургут, за что посаженный за колючку, она так никогда и не узнала, ей не сказали, ребенка берегли, – за все хорошее, а может, и ни за что, – и ее бедная мать Дарья Сургут, крепкая сибирская баба, чертоломила всю жизнь, перепробовала на зуб сто работ, а смерть настигла, как всех, и не увильнешь, не отвертишься, – все случилось, как надо, и кладбище, и крест, и на снегу торопливые поминки. Где старики, и где новизна? Новая страна, Вера в ней сейчас и жила, ее новое обиталище, новая ее гостиная и спальня, была непонятна ей, она пыталась прочесть ее, как книгу, как ту толстую чугунную Лизину Псалтырь, да еще чуднее расползались по чадным снеговым, земляным страницам новые каменные, железные буквы. Новые рисунки: охальные, непотребные. Стыдно? Отвернись! Да невозможно всю жизнь прожить с отвернутым вбок лицом. Веру приучили глядеть правде в глаза. Она и глядела.

Она шла по Москве и искала в ней ту вечную Москву, о которой она в книжках читала, будто в сказках, и которую воображала себе часто и радостно, как летом – новогоднюю елку: вот кремлевские башни, и алые на них звезды, вот танки на параде, вот полосатые, дынные и яблочные купола знаменитых пряничных церквей, – где все это, родное до слез? Небоскребы, блеск стекла и металла, до рези в глазах, дымная гарь, грохот колес и крики гудков заслоняли живой яркий цвет и живой дальний колокол. Тихо, шептала она себе, тихо! Не возмущайся! Это же она, твоя Москва! Твоя любимая столица! Спасибо Иерусалиму, а то так бы и прожила в Сибири, и Москвы бы не увидела, не пошагала вдоль по ней, по родимой! Глаза против воли все запоминали. Зачем человеку память? К чему помнить все? В гроб с собой не возьмешь, повторяла она изогнутыми насмешливо тонкими губами ворчливую Лизину присловицу.

На Красную площадь Вера все-таки выбрела. То в метро, то в троллейбусе, то пешком, – ей казалось, она движется ползком, – то и дело выпрашивая у прохожих дорогу, нарываясь на иностранцев, они беспомощно растопыривали пальцы и лопотали по-ихнему, Вера извиняюще улыбалась, она ни одного чужого языка не знала, и это тоже бросало ее в краску, топило в глубоком стыде: вот мы неграмотные какие! а простые! а сибиряки такие вот, лапотные! Она словно бы попала из незапамятного времени, а чуть ли не из-за тюремной колючки, в новый мир, в странный, резкий его свет и гром, – у нее было чувство, что ее выбросили в пустое открытое небо, в черный, всеми звездами сверкающий ночной оком, и все взблескивает вокруг, светится и рушится в бездну, а ей надо пройти над бездной по самому краю жизни, по ее узкой, как ладонь или ступня, дрожащей кромке.

... скажите мне имя времени! Оно – мое. Крепче кремня, нежней, чем белье!

... прозрачней и призрачней, чем свадебная фата...

... страшней, чем на тризне... в крови его пята...

Многоглавая мощная церковь ударила ее по глазам ярким бешенством, безумием куполов: желтый! звездный! алый! в колючих гранях, будто самоцветная друза! полосатый, как матрац! золотой, тяжкий сгусток счастья, хоть лизни золотой сахар, да не отравись только, закрой глаза, застынь, слушай! Как раз зазвонили с колокольни. Вера стояла и слушала звон, будто всю жизнь была глухая и вот услышала мир. «Как чудо», – подумала она с легкой улыбкой – над собой, над миром, что вот внезапно взял да подарил ей столицу, и она невольно сравнивала ее с Сибирью, и выходило так, что все равно Сибирь сильнее, мощнее, – грандиознее. «Наша Сибирь главное чудо», – думала Вера, задирая голову и восторженно, как дитя, разглядывая яркие сумасшедшие купола Василия Блаженного. Стекло и сталь за спиной померкли. Новизна

сдохла, рухнула и разбилась: умерла. Вечность моталась перед Верой в небе, синем уже полетному, в виде этих разноцветных круглых разбойничьих голов в расписных роскошных тюрбанах. Вечная Русь принесла ей на голубиных крыльях большую радость, и Вера не знала, куда ей эту радость спрятать: за пазуху ли, в ранец за спиной.

Ни на какую гостиницу денег у нее, конечно, не было. Лизины дареные купюры из ее кошелька исчезали так же быстро и внезапно, как и появились. Она старалась их сберечь, и тем быстрее и насмешливей они, разменные, утекали. Столько поджидало в Москве соблазнов! Как это вкусно, и это, и еще это, а голод не тетка! А это, разве можно такое пропустить, не посмотреть! Вера забредала в зоопарк, в планетарий, дивилась на ночное искусственное, под куполом, небо, полное звезд, и планеты по нему катились, и Юпитер с Красным Пятном, и круг лунного сыра, и Сатурн с кольцами, подобный детской юле; даже на концерт звезды, модной певицы, однажды попала – так долго перед ней трясли билетом, и так красиво, медово светились из вечернего мрака толстые, в три обхвата, колонны громадного театра, что Вера не устояла, махнула рукой и вынула деньги из потощавшего гомонка. Певица пела так красиво! Слишком красиво; Вера даже подумала – она не живая женщина, а красивая кукла, и внутри нее завели голосовой автомат, и он выпускает на волю, в публику, красивые соловьиные рулады. Певице громко хлопали, хлопала и Вера. Она хотела, вместе с другими людьми, увидеть еще раз, хоть на миг, красивую певицу; толкалась около тяжелого занавеса в потной нарядной толпе, протягивала руки, кричала вместе со всеми: «Бис!» В гардеробе, когда она брала свою одежду, она поймала ненавидящий взгляд гардеробщицы: Вера ничего за услугу не дала ей, никакой денежки, не вынула из кармана. Ночевала на Казанском вокзале: быстро и сурово сдружилась с дежурной из Сибири, и та милости ради, без всякой оплаты, пускала Веру в зал ожидания, где можно было угнеститься в железном неудобном кресле и сиротски дремать в тепле.

Ночью, на вокзале, она просыпалась, будто кто ее в бок толкал. Вытаскивала из ранца Евангелие. Нырjala в него, и страницы, как чьи-то живые ладони, грели ей холодные руки. Свои руки чудились ей шуршащей погублой бумагой, а со страниц золотой волной шло такое дивное тепло, что ей хотелось склониться и тайком припасть к буквам губами. Евангелие от Матфея. Кто такой Матфей? Зачем он все это написал? Иисус, Бог Он или же человек? Никто не мог ответить ей на эти жаркие вопросы, кроме этой истрепанной святой книги старушки Расстегай. Вера читала, читала и читала, повторяла шепотом иные слова; бросив непонятное слово на полдороге, возвращалась к нему. Снова вылепляла его губами, и мужик с белой бородой в соседнем кресле завистливо и хрипло просил: «Эй, женщина, почитайте и мне! Скучно!» Вера возвышала голос, мужик приставлял ладонь к уху – он был глуховат. Вокзальная уборщица терла каменные полы мокрой щеткой. Баба в собачьей шубе просыпалась рядом, грубым лаем бросала Вере: «Што трещишь, трещотка! Заткнись! Ночь-полночь, а они расчитались! Чтецы! Песцы! На радио иди работай!» Вера зажимала рот рукой. Белобородый старик мучительно морщил лоб, бывалое лицо его сминалось жалостью и обидой. «Ну, не велят, значит, не велят. Просют! Покоя просют! Спать оне хотят. Пускай спят! Смолчим. А ты мне, женщина, потом, как прочитаешь, расскажешь, как да что оно там?» Вера наклоняла голову. «Да, дедушка, расскажу».

Вера подождала немного, наклонила голову над книгой и стала читать вслух, тихо.

«В то время следовало за Иисусом множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать

и всячески несправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах».

Она читала все тише и тише.

Она читала нежно и неслышно.

Она читала, беззвучно шепча. Старик засыпал. Потом засыпала она. Потом просыпалась, и мужика с белою бородой уже не было рядом. И книги в руках тоже не было: она валялась у нее под ногами, выпала, когда Вера уснула.

Она поймала себя на мысли, что стала забывать о Иерусалиме; Иерусалим казался далеким видением, его призрачные стены осыпались, продуваемые пустынными ветрами, окна и двери глядели небесами, дома проглядывались насквозь, и в этих сквозных дырах виднелась иная жизнь – та, которую Вере, она знала это, уже никогда не прожить. Сладкая, милая жизнь! Неизвестная вечность! Подарки звенящих звезд! Тогда, давно, над Вифлеемом, над Иерусалимом горел хищный глаз ослепительной Звезды. Цари из далеких земель ехали на слонах и верблюдах на яростный свет этой Звезды. Не цари, а волхвы, поправляла она себя, а может, это одно и то же. Волхвы, у них мешки, полные халвы. Сидят на верблюдах, башки в тюрбанах, на лбах короны, звезды жемчугом падают с небосклона. Она вычитала в Евангелии от Матфея, что волхвы принесли младенцу Христу, лежащему в яслях рядом с мамкой, в подарок гостинцы: золото, смирну и ладан. Она не знала, что такое смирна. Что-то смирное, наверное, так весело думала она. Такое тихое, нежное, как овечка. Может, овечье руно. Ну, золото, с ним все понятно. А ладан? Что такое ладан? Какая тишина летит вдаль от этого слова! Ладан, да, это в церкви; это из церкви. Да, так пахнет в церкви.

И вокруг Веры пахло ладаном, а не кофейным, грязным и хлорным духом вокзала.

Востани, что ж ты спиши, душе моя ты, душе!

Воды зачерпни – вся жизнь отразится

в Звездном Ковше.

Я ночью, на лубяном вокзале, на жесткой лавке спала —

И вдруг пробудилась, и заплакала, оплыла,

свеча на краю стола.

Свеча в пустой банке консервной... а я, как дитя, все жду,

Все жду подарка, как Бога, – ой, нет, Бога-подарка, на льду-холоду!

Васильками лед искрит... на зуб попробовать... зимы кусок откушу —

Вот и сыта... и напиток – впрок на свете нажиться – губами припасть к Ковшу...

А как жизнь жила? Не вспомню! В катанках, чунях, чулках,

В стряпне, в голодухе, в краснофлажных ветрах, в штопаных, утаенных грехах,

А тут время сжалось, в кулаке голубенком пищит, сизый пепел и прах, —

И голос высоко в небесах слышу: конец скоро,
суд при дверях!

Руку ко рту прижала. Рыданьем давлюсь.

Ворочается вокзал

На жесткой стальной подушонке. Как верить,

мне никто не сказал.

Как это – персть, Благоую Весть, ко грешному лбу подносить

И будто солить себя, благословить, вязать нательный на нить
Этот крест дорог, этот крест путей,
 распяты серебряных рельс,
И я горько восплакала, чую, чугунных времен в обрез,
И с лавки железной встала, и вижу: мрачно стоит за мной
Смерть моя – в платке моем шерстяном, с косой за спиной.
– Ты, смерть, ты слишком рано явилась, уйди!
Я мир люблю. Я сплю с ним, святым, на груди.
А ты? Что глядишь пропастями
 пустых, угрюмых глазниц?
Я все равно не упаду пред тобою ниц!
Я грешница, смерть! Мне – мои грехи отмолить, разбивая лоб,
Во всех церквах, горьких, как сныть,
 без сна, пьянея, захлеб!
Уйди! Колеса стучат, и вдоль перрона бегу в мой железный дом —
Ушло тепло, разбито стекло, гудок, и грохочет гром!
А смерть смеется всеми зубами, оскал у людей на виду:
– Какая горячая... что тебе пламя!.. нет, я от тебя не уйду.
Я тюремщица, надзирательша, я сторожиха твоя —
Проси не проси, а пойду за тобой, по рельсам, по выюге белья,
По жесткой стерне, по жнивью в огне, по камню больших
городов —
И можешь мне врать, что ты молода, что не искупила грехов!
Плевать мне на все грехи твои. На запах
 сырой пустоты.
А злата и серебра нет у тебя – ничем не откупишься ты.
Ты мнила –пустишься в дальний путь, и удерешь от меня?..
И ноги уже – не протянуть... и нет панихиде – огня...
А все так близко... небесный плот... ты думала,
 рыба-жизнь
На леске горит?!.. на червя клюет?!.. ловись без конца, ловись?..
Я смерть, не бойся, я – мать Тьмы – послана Богом тебе:
Ты мыслишь – зло, а я ведь добро, я вышита по судьбе
И кровью, и гладью, золотным шитьем,
Счастливым навечным сном...
Что, дура, ревешь?!.. от меня не уйдешь...
 ни сейчас, ни потом...
– О милая смерть, я тебя молю, пропади, скройся ты с глаз,
Я даже потом тебя полюблю, но только уйди сейчас!
Я Бога жду. Он еще не пришел. Он там,
 за вокзальным углом,
Дыханьем греет руки Себе, мороз загребает веслом.
Еще не вкусила я сладко, сполна сужденную мне судьбу.
Еще не готова я – дева, одна – лежать в богатом гробу!

Так мы стояли друг против друга. Я и смерть моя.
И старик разлепил глаза на лавке, и проснулась моя семья,
Мой великий люд, мой гул и гуд, мой пасхальный, каторжный
труд, —

Весь проснулся, весь встрепенулся, – даром знал он, что все умрут!
Но какие счастливые, светлые лики! Ах, народ мой, иконы для
Твои руки, и нимбы, и слезы, и крики, под ногами твоя земля!
И никто, да, никто часа не знал, пока проходили века.
И никто под выстрелом не упал, обливая кровью снега.
И метелью наследных кружев не бинтовала я страшных ран —
И меня на поминках не угощал кутьей ты, мой друже,
северный ветер, пьян...
И сказала мне смерть:
– Умереть не посметь тебе нынче, царица зимы.
А настанет день – и наляжет тень – и обнимемся крепко мы.
Ты сегодня гуляй. Волю пей через край. Всех в лицо ты
запоминай —
Ведь настанет срок, и шагнешь за порог, и тебе улыбнется Рай.
Спит под яблоней Змей. Там вместо людей —
Серафимы. И счастье – навек.
Жизнь окончена. С подносов седых площадей
Ты скатилась яблоком в снег.

Однажды шла она по улице, даже запомнила, как она называлась: Ордынка, вот как. Люди шли навстречу, и Вере казалось, вся земля ей навстречу идет. Она остановилась у фонаря, ей стало жарко, она стащила с себя все теплое и утолкала тряпки в раздувшийся, как тыква, ранец. «Сейчас треснет по швам», – подумала Вера испуганно и ощупала ранец, как ушибленного ребенка.

Еще она придумала: надо устроиться работать. И заработать денег на Иерусалим. Вот просто! Как ей раньше это в голову не взбрело? Ведь Москва, тут же столько возможностей! Тут такие деньги крутятся! Она облизнула рот. Ну конечно, она заработает себе и на поездку, и на паспорт, и на эту, как ее, визу!

Она уже знала, что требуется для выезда за границу. Ей та дежурная, в синем форменном костюме и блестящих погонах, сибирячка с Казанского, разъяснила. Не боги горшки обжигают. Она всего добьется. Руки у нее рабочие, и сама она еще сильная. Крепкая она баба, в общем и целом. А Москва большая. И она, понятно, никаким слезам не верит. Да Вера и не из плаксивых.

Вера шла по Москве, по своей тоске, попирала тоску свою ногами, напрягались ее икры, расталкивали юбку бедра, и длинная, как у монахини, немодная и уродливая ее юбка развеивалась по тепловому ветру за Вериными быстро идущими ногами, за спиной, и со стороны казалось, будто ветер Веру легко и весело несет над закованной в камень землей. Она шла, а музыка сама звучала в ней, и складывалась в слова, и лепетала, и стонала, и всхлипывала, и Вера сама себе, неслышно, пела на ходу чудесную песню.

Тихо я иду по земле... По свету иду, и по дождю, и во мгле! Тихо, тихо голос во мне звучит, без тревог, без боли, без обид... Я иду... а куда я иду?... Где я счастье свое найду?... Боже, Боже мой, Боже, есть ли Ты, нет ли Тебя, а мне делать что же?... Боже мой, милостивый мой! Может, и дойду когда к Тебе домой. А где Твой дом, мне скажи?... от холода, от страха, от боли не дрожи... Я Тебя уже немножечко люблю. Я Тебя уже ночью и днем хвалю! Только слишком слабые пока мои уста, и сама я пока грязна, не чиста... чтобы забыть все печали и грехи мои... чтобы сказать Тебе, мой Боже, о любви... Я не знаю, не знаю, где же Ты живешь... Я иду к Тебе через бурю, снег и дождь... Я свое сердце бедное для Тебя держу в горсти: Ты прости меня, мой

Боже, пожалуйста, прости!.. Прости меня... если что не так... Я зажму печаль свою в кулак! Я Тебе выплачу всю боль-тоску мою... у Твоей любви постою... на краю...

Что это такое с ней было? Она сама не знала. И никому она этого не смогла бы объяснить, и меньше всего себе. Есть и есть, ну и пусть. Хорошо слагались эти песни под ритм ее жестких, упругих шагов. Она толкала кулаком тяжелые двери, входила, читала объявления, стучалась в кабинеты. Ее спроваживали вон, указывали ей на дверь. Она пожимала плечами и выходила на волю из душных дворцов из камня и стекла. Работа не давалась ей в руки, как птица: плохо был связан ее силок.

А деньги тем временем кончились.

И тогда она почувствовала себя ребенком.

Брошенным ребенком.

На каждого глядела, как на мать, на отца; нет, все, беда, ты теперь сирота.

Угостите меня! Накормите, напоите меня! Я вам отплачу! Я вам хорошо заплачу! Только не сегодня, а завтра! Сегодня – нечем! Разве только собой! собой... от себя отщипнуть кус и вам подать... да вы ж мою плоть есть не будете, кровь мою пить не будете...

На бульваре села на скамейку. Рядом с нею упоенно целовалась влюбленная пара. Молоденькие совсем, дети. Кончили целоваться, мальчишка полез в карман и вынул кусок пиццы. Кормил свою девочку из рук, как зверька. Она откусывала от пиццы крупные куски и хохотала. Живот Веры свела голодная судорога. Она, сама не зная, что делает, и стыдно ли это, и правильно ли, и можно ли, протянула руку. Мальчишка воззрился на нее.

– Что?! А ну-ка пошла отсюда!

Девочка прожевала пиццу и вскинулась:

– Эй, полегче! Она же просто жрать хочет! Не видишь, какая худая!

Мальчишка вскочил с лавки.

– Идем, быстро! А может, у нее вши!

Девчонка хохотала как безумная. Икала. Утирала жирный рот ладонью.

– Блохи, блохи...

Парень схватил девчонку за руку, плюнул на землю перед Верой, и оба побежали прочь. Вдруг остановились. Девчонка что-то сказала парню. Он вернулся к скамейке и, не глядя на Веру, сунул ей в руку деньги.

– Возьмите... простите.

И теперь оба уже побежали, не оглядываясь.

Вера купила в ближайшей лавчонке пирог с мясом и ела его, урча по-собачьи, постанывая, обливая тесто слезами. Она ела пирог и молилась за того мальчишку. Господи! спаси его. Господи, да ведь он добрый, даром что грубый! Дети всегда грубые. Дети жестокие! Но вчера они злые и жестокие, а вот сегодня, сегодня... сегодня... они ангелы, просто ангелы... Господи! Спаси малого ангела своего! Спаси человека!

Когда она, наевшись, воскреснув еще для одного дня жизни, дошла до конца бульвара, в воздухе грохнуло, и близ Веры раздался зловещий, острый и резкий свист – будто бы плеть разрешила плотный воздух. Голос рядом заорал: «Пригнись! Ложись!» Она послушалась крика и упала на землю. Животом прямо в грязную лужу. Выстрелы грохали. Пули свистели. Вера осторожно подняла голову. Глаза ее метались. Наткнулись на двоих людей, они валялись около скамьи. Мужчина и женщина. Оба в крови. Мужчина стонал. Он был еще жив. Женщина лежала недвижно. Она умерла.

Шорох шин скользнул прочь. Люди бежали и ослепленно орали. Веру чьи-то сильные руки перекатали с живота на спину. Голос над ней вспорол невыносимую тишину. «Эта – жива!».

– Я теперь знаю, – прошептала Вера очень тихо.

Этот шепот услышали.

– Что – знаешь?! Ну, что, что?!

Человек тряс ее за плечи, дождь пошел, вода с небес хлестала людей по щекам, по затылкам. Вера лежала на земле, в грязи и песке бульвара, ее ранец больно вдавился ей в спину.

– Как свистят пули, – вышептала она, и мир колесом покатился вбок от ее глаз и исчез.

Когда очнулась, увидела рядом с собой великое множество людей. Люди суетились, тащили на носилках других людей, испятнанных красным; кричали, плакали, кулаками размазывали слезы и грязь по щекам. Беспощадно ругались. Трясли кулаками. Звали кого-то: и друг друга, и того, кто уже никак не мог сюда вернуться. Женщина, обезумев, прижимала к груди ребенка, всего в крови. Кровь впитывалась в песок, как в хлеб, и алыми чернилами стояла в ямах асфальта. Вера встала сначала на четвереньки, потом на колени, потом поднялась, шатаясь, и пошла меж убитых, настороженно глядя в их лица. Она будто искала кого-то. Никто не знал, кого и зачем. И она не знала. Вот увидела. Лежит. Еще миг назад он был живым. Теперь он умирает. У него прострелена голова. При таких ранениях не выживают. Этого она не знала. Просто – догадалась. Не жилец ты, мужик. Она встала перед умирающим на колени. Стащила со спины ранец. Вытащила из него кружева Анны Власьевны. Размотала, встряхнула кружевами в воздухе. Стала заматывать кружевной выюгой чужую раненую голову. Раненый человек мычал, как бык, время от времени открывал глаза, глядел бессмысленно, страдально, снова закрывал. Со лба обильно текла кровь. Вера обмотала кружевами лоб и виски, перекачала выюжные мотки на шею, на плечи. Она не думала, что делает; она просто бинтовала раненого. На миг в нее занозой воткнулось запоздалое сожаленье: а кружево-то, ведь это ценность! «Для кого ценность? Для меня?» Она никогда не знала, что такое ценность, драгоценность. Утешила себя: «Да у меня в ранце еще кружевной Аннин моток остался. До Иерусалима берегу. И там кому-нибудь подарю. Русский сувенир».

К ней подбежали люди в белых халатах. Веру посетило чувство, что она, вместе с людьми, варится в огромном страшном котле. И в него все сыплут и сыплут с неба живую заправку; все крошат и крошат тела, кожу, резину, куски железа. Крошат жизнь, а варят смерть.

Из-под рук у нее выхватили обмотанного сибирским кружевом умирающего; потащили куда-то, поволокли. Вера проследила за ним взглядом. Она видела, как раненого человека поднесли к машине с широко распахнутой дверцей, втокнули внутрь, во мрак. Дверца захлопнулась, вспыхнул огромный красный крест. Вера не видела вспышки. Не слышала хлопка. Не слышала ничего. Мир опять перестал звучать.

Она пришла в себя в больничной палате, где беззвучно сновали медсестры, беззвучно и осторожно клали на тумбочки ампулы и шприцы, и молча, хмуро ощупывали и осматривали лежащих на койках людей строгие врачи. Тишина царила тут и торжествовала. Тишину никто не смел нарушить. Когда больной стонал или, еще хуже, кричал, тут же подбегали люди в белом, делали ему быстрый укол, совывали пилюлю под язык. И человек утихал.

Вера старалась не кричать, не стонать. Сильно болела голова. Стены палаты были выкрашены масляной краской в белый цвет, и ей казалось, она лежит засохшей бабочкой в бумажной коробке. Ее спросили тихо: где ваш полис? Она так же тихо ответила: в ранце. Потом спросила еще тише: а где мой ранец? Открыли тумбочку и показали ей ранец. Вера закрыла глаза. Из-под ее век на подушку медленно текли слезы. Она оплакивала погибших. А еще плакала перед будущим – она уже не знала его.

Когда худенькая медсестричка с ярко накрашенным ртом пришла делать ей очередной укол, Вера тихо спросила ее:

– Скажите, что это было такое?

Медсестричка вытащила иглу из Вериной кожи, поправила белую шапочку и пожала плечами:

– А вы разве не знаете? Один безумец перестрелял народ. Кучу народу! Дрянь такая! Точное число жертв неизвестно! Мертвых много. Разные цифры называют! А живые, вот, в больницах валяются, в разных. Вот у нас, все палаты забиты, к нам много привезли, мы рядом с бульваром, нам и карты в руки! Многих мы спасли! Вот вас!

– А я разве раненая?

Вера выпростала из-под одеяла руки и изумленно ощупала себя: плечи, шею, подбородок, грудь.

– У вас сотрясение и ушиб мозга, – веско сказала медсестричка, изо всех сил пытаюсь поменять воробьиный голосок на важный и знающий, врачебный. – Контузия. Ну, как на войне, знаете? Но сейчас опасности нет! С вами все будет хорошо!

Вера повернула голову на подушке.

Она не хотела, чтобы птичка-сестричка видела ее слезы.

Слезы текли восторженно, отчаянно, обильно, – непонятно. Внутри Веры будто переключили запретный слезный тумблер. Она лила слезы, задыхалась, звала ночами мать, звала шепотом умершую Анну Власьевну, но больше всего, чаще всего она звала к себе Бога. Его имя всплывало на ее губах само собой. Как песня. И нечего уже было Его стыдиться. Она сама себе была церковь, в этой сверкающей чистым льдом кафеля белой палате, среди этих молчаливых, со снадобьями в ладонях, одетых в белые одежды людей, спешащих к тем, кто должен быть умереть: продлить, хоть ненадолго, им единственную жизнь.

Она стала понимать, что такое жизнь. Жизнь была, оказывается, постоянным прощанием с жизнью. Она сама с собой все время прощалась, и троекратно целовалась, и махала рукой, и уходила, и вставала на подножку вагона, и все никак не могла уехать, бросить влюбленных в нее, жалких людей. Жизнь каждый день прощалась и с Верой, она поняла это, и все не могла Веру отпустить, а может, просто жизнь знала, что ей еще рано покидать Веру, такую хорошую, такую смирную и верную, – молчаливую, выносливую.

...вынести, вот это и это... и еще... и всегда и везде...

...не ослепнуть от света. Не утонуть в воде.

...на койке выгибаться... в любви столбняке...

...помогите, братцы... а надо прощаться... чтобы рука в руке...

Вера понимала: вот в нее стреляли и чуть не расстреляли, и она осталась жить, и это означает, что к жизни надо, надо еще тянуть руки, надо крепко обнимать ее и шептать ей на ухо простые и добрые слова. А рядом не было никого, кроме Бога. Вера, лежа на больничной койке и глядя долгими ночами в потолок, видела Его. Переводила глаза на окно. Крестовидная рама чернела на фоне светлого неба. Забыли задернуть шторы: полночный свет наполнял палату белым молоком. Луна лила этот свет, и Луна была настоящая, а все больные тут – потусторонние, и Вера тоже. Она глядела на этот тихий, нежный свет как из могильной ямы. Черный крест обнимал чугунными руками нежное молочное серебро. Ночь текла и плакала. Луна сияла. Черный крест ее сторожил. Мрачно и бессонно.

Внезапно Вера стала арфой и зазвучала. Ее волосы обратились в струны, тело, изгибаясь, дрожало и отзывалось огненным биением. Так, музыкой, билось ее сердце.

На фоне светящегося окна сидел человек. Она еле видела его. Сидел, закрыв глаза. Длинные спутанные волосы текли с темени на лоб, виски, на плечи. Сгорбился. Голый: голый торс, голые ноги. Белой простыней обмотан живот. Худой. Щеки ввалились. Будто деревянный. Не шевелился. Пальцы сцеплены на коленях. Сидит, молчит. Слушает, как бьется его сердце. Одинокое.

Музыка, музыка, далеко, на том свете, бьют в барабан.

Люди бьют человека, привязанного к столбу, плетями. Слышен хлесткий стук ударов.

Полосы крови по телу. По голому телу – полосы боли.

Он ночью, один, сидит на больничном табурете.

Вера поняла: это он на ней играет, на живой арфе. Струны рвутся.

Нет, он сидит неподвижно. Она сама, одна, поет и плачет.

Вся дрожа музыкой, она привстала на койке на локтях, и койка прогнулась. Человек, сидящий на табурете, не двинулся. Луна обливала его посмертным молоком, и оно густело, застывало потеками льда, и снова таяло, и плакало. Музыка становилась громче, Вера села в койке и обхватила себя за плечи, так сильно ее трясло. Человек на табурете открыл глаза и увидел ее. На кого он был похож? На миг Вере показалось: это ее отец. С того лагерного снимка, где зэки сидят за длинным столом в столовой. И перед каждым алюминиевая серая тарелка. И перед каждым ложка. Лица серые глядят и не видят. Зачем видеть время, которое распороли по швам в прожарке и сожгли, и нет его?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.